

Из “**Э**КАТОММИТИ”



ДЖАМБАТТИСТА
ДЖИРАЛЬДИ
ЧИНТИО



**ОТТАВИО ИЗ ФАНО ЛЮБИТ ДЖУЛИЮ,
ДОЧЬ МИНУЧЧО ЛОНДЖАНИ.**

**ОТТАВИО, ПО НАСТОЯНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НЕАПОЛЬ ВМЕСТЕ СО СВОИМ
ТОВАРИЩЕМ. ТОВАРИЩ ВОЗВРАЩАЕТСЯ,
И ЕГО ОБВИНЯЮТ В УБИЙСТВЕ ОТТАВИО.
ПОД СТРАШНЫМИ ПЫТКАМИ ОН ВЫНУЖДЕН
ПРИЗНАТЬСЯ В УБИЙСТВЕ, КОТОРОГО ОН НЕ
СОВЕРШАЛ. ЕГО ПРИГОВАРИВАЮТ К СМЕРТИ.
ДЖУЛИЯ, УЗНАВ О СМЕРТИ ОТТАВИО, ПРИНИМАЕТ ЯД
И УМИРАЕТ. НЕМНОГО ВРЕМЕНИ СПУСТЯ ОТТАВИО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ И, ОБНАРУЖИВ, ЧТО НИ ТОВАРИЩА
ЕГО, НИ ДЖУЛИИ НЕТ БОЛЬШЕ В ЖИВЫХ,
ТОЖЕ СЕБЯ УБИВАЕТ**

Оттавио из города Фано был в свое время таким благородным и таким красивым юношей, что равного ему трудно было найти среди его сограждан. Потеряв к двадцати годам своего отца, принадлежавшего к роду настолько знатному, насколько допускали возможности этого города, он страстно влюбился в молодую Джулию, дочь Минуччо Лонджани, женщину самого низкого происхождения, но удивительной красоты, отличавшуюся

добрым нравом и благородством в обхождении. И она воспыла-
ла к нему не меньше, чем он к ней. Поэтому оба они не находили
себе в жизни ни радости, ни покоя, иначе как видя или вспоми-
ная друг друга. Любовь эта вызывала в родителях Оттавио
крайнюю досаду, ибо, мечтая о высокой и знатной родне, они
боялись, как бы, женившись на Джулии, он себя не унизил. По-
этому они чинили юноше самые непреодолимые препятствия и
часто порочили в его глазах такого рода любовь. Юноша же,
несмотря на все это, не переставал любить ту, которую он избрал
себе верной пристанью всех своих надежд. Видя это, родители
его решили под благовидным предлогом добиться, чтобы он по-
кинул Фано и отправился в далекие края, полагая, что, не имея
перед глазами предмета своей страсти, он волей-неволей выкинет
Джулию из своего сердца. Однако они, как видно, не знали, —
что в тех, кто любит по-настоящему, любовь от дальнего расстоя-
ния не иссякает, но, наоборот, чем дальше они лишены того, чего
сильнее всего желают, тем больше растет в них желание этим
обладать и, мысленно возвращаясь к образу любимого предмета,
изваянному в их сердце, они с тысячекратной силой разжигают
горящее в них пламя. Недолго думая, они устроили так, что из
Неаполя пришло письмо от одного родственника, находившегося
при короле; он приглашал юношу ко двору и обещал, что тот на
почетных условиях будет принят королем.

Родители прочитали письмо своему сыну, а затем при помощи
возможно более веских доводов постарались убедить его полу-
чить место при том дворе, так как, во-первых, человек в таких
условиях становится благоразумным и развивает в себе многие
благородные способности, а во-вторых, чем больше видит новых
стран и новых обычаев, тем становится мудрее и осмотрительнее.

На первый взгляд все это показалось Оттавио невыполни-
мым — из-за безграничной любви, которую он питал к своей
Джулии; однако затем, после некоторых колебаний, побуждае-
мый словами родителей, он в конце концов сдался, рассудив в
глубине, души, что всегда сможет вернуться, как только пожелает.

Решив отправиться во что бы то ни стало, он перед отъездом зашел к Джулии и, изложив ей свое намерение, стал просить ее, чтобы она его отпустила. Молодая девушка, очень тяжело это переживая, пыталась многократными просьбами и обильными слезами поколебать в нем его решимость, а когда увидела, что мольбы ее напрасны, сказала ему:

— Оттавио, не знаю, хватит ли у меня сил перенести все те страдания, которые, как я предчувствую, доставит мне твой отъезд. Но раз тебе не угодно, чтобы мое желание было твоим желанием, я, принадлежа тебе целиком, сделаю над собою усилие, чтобы твое желание стало моим. Умоляю тебя ради той любви, которую я к тебе питаю, подумай, в каком отчаянии ты меня оставляешь, и насколько мало я, слабая девушка, способна перенести такую муку. Поэтому, раз ты все-таки решил уехать, прошу тебя, не очень откладывая свое возвращение. Я не хочу просить тебя, чтобы ты меня любил и не забывал ради другой женщины, так как мне кажется, что, прося тебя об этом, я оскорбила бы нашу несравненную любовь. Я уверена, что так же, как я никогда не смогла бы отдать свою душу другому, так и ты никогда этого не можешь сделать, и прошу тебя только об одном — не оставляй меня надолго одну и помни, что ты с собой увозишь мое сердце, которое будет тебе самым верным товарищем, куда бы ты ни поехал.

Большого измученная девушка сказать не смогла от избытка душивших ее слез. Юноша, почти побежденный нежными словами своей милой, готов был изменить свои намерения, но в страхе перед упреками родителей остался при первом решении и, как мог, утешив девушку, обещал навсегда запечатлеть ее в своем сердце и, вернувшись в Фано раньше, чем минет год, принять все необходимые меры, дабы на ней жениться; а чтобы отсутствие его не было ей так тяжело, он будет утешать ее письмами как можно чаще. И с этими словами он в последний раз с ней простился, и они расстались. После чего он отправился в путь вместе со своим верным товарищем, которого звали Феличе и

который, будучи видным купцом в городе Фано, собирался ехать в Неаполь ко двору, имея при себе большие деньги.

Прошло немного дней, как оба они счастливо доехали, и Оттавио, найдя своего родственника, получил место при короле; Феличе же, через шесть месяцев закончив свои дела, решил из Неаполя направиться в Испанию. Когда Оттавио об этом узнал, он не пожелал, чтобы Феличе ехал без него и, с полного согласия короля, вместе со своим товарищем покинул Неаполь. Завершив в Испании некоторые свои дела, Феличе спешно собрался вернуться в Фано. Однако Оттавио, в котором уже пробудилось желание осмотреть всю Испанию, захотел остаться, и Феличе отправился домой без него. Оттавио всячески просил его передать поклон друзьям и родителям, а главное Джулии, и сказать ей, что и года не пройдет, как он к ней вернется.

Случилось так, что, на свою беду, Феличе повстречался в пути с двумя проходимцами, которые, приметив, что юноша один, и полагая, что при нем хорошая сумма денег, на него напали, чтобы его убить и ограбить. Он, будучи очень сильным и отважным человеком, схватился за оружие и стал защищаться. После многих ударов он убил одного из них и тяжело ранил другого; последний не хотел прекращать схватки, и Феличе вынужден был в конце концов убить и его. И вот, понуждаемый на это судьбой и думая, что его никто не видит, он похоронил его на берегу реки, куда этот негодяй отступил в ходе их схватки. Весь окровавленный, он омылся в той же реке и, продолжая свой путь, через несколько дней вернулся в Фано, где выполнил все, что ему поручил Оттавио. И как ни дорого было Джулии получить весть о своем возлюбленном от самого близкого ему человека, она все же очень жалела, что он не вернулся вместе с Феличе.

Оттавио, находясь в отдаленных областях Испании, тяжело заболел и в течение целого года после отъезда Феличе ничего не мог написать ни Джулии, ни кому-либо другому. Поэтому его родители, после долгого ожидания, пришли к твердому убеждению, что Феличе его убил, чтобы завладеть деньгами, которые были при нем. Подозрение их подкреплялось тем, что, как они видели, Феличе заключал гораздо больше сделок и был, каза-

лось, гораздо богаче деньгами, чем раньше. С этой мыслью родители Оттавио стали тайком собирать сведения об этом деле.

О, сколь неумолима злая судьба, предначертанная нам свыше!

Случилось так, что какие-то возчики рассказали, что они видели, как Феличе убивал человека и хоронил его на берегу реки, в которой затем омыл себя и окровавленное оружие. Услыхав об этом, родители отправились к подеста и, сообщив ему об этих показаниях и о некоторых других предположениях, подтверждавших эти сведения, добились ареста Феличе, который был бы более чем счастлив¹, если бы никогда не уезжал вместе с Оттавио. Феличе не представлял себе, каким проступком мог заслужить он столь грубое обращение, в то время как неизменно пользовался в городе общим доверием. Вечером подеста приказал привести его и объявил ему о причине его ареста, а затем прочитал обвинительное заключение, вынесенное на основании улик, и предложил сказать правду. Несчастный, видя, что ему не миновать своей злой судьбы и опасаясь, что если он признается в убийстве человека, то этим в глазах судей лишь подтвердит смерть Оттавио, смело заявил, что никогда никого не убивал, и попросил навести о нем справки в городе и за его пределами, а кроме того, принять во внимание всю его прошлую жизнь, чтобы убедиться, что он скорее лишил бы себя жизни, чем решился бы поднять руку на человека, которого он любил больше, чем самого себя. Подеста, словно он, облачившись в докторскую мантию, тем самым сбрасывал с себя всякую человечность (ведь не иначе поступают некоторые избранные на подобного рода должности, полагая, что с ними считаются тем больше, чем больше они свирепствуют, притесняя людей), ничего из сказанного Феличе не хотел принимать во внимание, за исключением того, что грозило ему смертью, и сказал:

— Ты воображаешь, негодяй, что своей болтовней заговоришь мне зубы и думаешь, что тебе удастся спрятать волка под овечьей

¹ В оригинале игра слов: феличе по-итальянски значит "счастливый".

шкурой, но, клянусь богом, ничего из этого не выйдет, и, хочешь ты или не хочешь, я заставлю тебя сознаться.

И с этими словами он передал его своим подручным, чтобы те вздернули его на дыбу. Феличе, возвращенный в неге и благополучии, стал просить пощады у жестокого подеста, говоря ему, что он по природе своей не способен перенести пытки. Ни слова, ни мольбы юноши не помогли, ибо, вооружившись звериной жестокостью, проявляемой теми, кто в наших краях, прикрываясь знаменем правосудия, действуют, как служители Вельзевула, — подвергли его жесточайшей пытке. Не выдержав ее, несчастный признался, что убил Оттавио на берегу, как это говорили возчики, и что не только убил его, но и похитил все деньги, которые при нем были, получив таким образом возможность заключать более крупные сделки, чем прежде.

Родственники и друзья несчастного Феличе, узнав об этом, никак не могли поверить, что он совершил такое преступление; поэтому, так как срок защиты для несчастного был уже установлен, они пошли к нему и спросили его, как мог он стать таким преступником. Он им сказал:

— Как вы могли поверить, чтобы я когда-нибудь дошел до такого злодейства? Мучение, которому меня незаслуженно подвергает этот жестокий человек, для меня невыносимо, и так как оно доставляет мне тысячу смертей, я предпочел сознаться в том, чего я не делал, чтобы умереть только от одной смерти.

Добрые люди отправились к подеста и сообщили ему то, что им говорил Феличе, и всякими доводами пытались убедить его, что с несчастным юношей могло случиться все, что угодно, но только не это. Тот снова вызвал к себе Феличе и, услышав, что он отрицает то, в чем сам уже признался, снова хотел подвергнуть его пытке, но Феличе, испугавшись ее, подтвердил свои прежние показания. Родители стали просить подеста отложить казнь Феличе на восемь или десять месяцев, ибо не могло быть, чтобы за это время Оттавио не вернулся или чтобы от него не пришло известие, а по прошествии этого времени он уже будет волен отправить Феличе на смерть; если же он приведет свой приговор в исполнение, а Оттавио вернется, то он уже не сможет

вернуть несчастному жизнь. Мольбы их были напрасны, ибо подеста утверждал, что если уже прошло два года с того времени, когда, как известно, он убил того человека и возчики это видели, а он в этом убийстве сознался, то от Оттавио уже никаких вестей ждать нельзя. Итак, ничего больше не желая слушать, он отдал Феличе в руки стражников и приказал, чтобы ему отрубили голову, как убийце, совершившему преднамеренное убийство в целях грабежа.

Когда беднягу привели на место казни, он на глазах у всего народа произнес:

— Я не виновен в смерти Оттавио и уверен, что он жив, но так как моей судьбе и людской жестокости все же угодно, чтобы я умер невинным, я молю господу не оставлять меня в памяти людей с этим пятном, но в своем милосердии перед каждым обнаружить мою невиновность и принять мою душу в число блаженных, ибо я (в чем бы другом я ни согрешил) никогда не совершал того преступления, за которое ныне осужден.

Сказав это, он приготовился к смерти, и голова его была отрублена.

Джулия, поверив тому, что Феличе убил Оттавио, после многих и многих пролитых ею слез и после бесконечных сетований впала в такое отчаяние, что, не принимая ни совета, ни утешения, решила умереть и, проклиная Феличе и свою жестокую судьбу, приняла яд и, до последнего вздоха повторяя имя Оттавио, скончалась.

Между тем не прошло еще и четырех месяцев после смерти Феличе, как Оттавио, оправившись после долгой болезни и гонимый желанием увидеть свою дорогую Джулию, пустился в дорогу и прибыл в Фано.

Представляете ли вы себе, каково было на душе у родителей Феличе при виде Оттавио? Представляете ли вы себе, как сокрушались жена и дети Феличе, увидев того, из-за кого одна потеряла мужа, а другие отца? Как сокрушалась его старая мать, лишившаяся единственной опоры своей немощной старости? Как, наконец, сокрушался весь город, видевший недостойную смерть такого честного гражданина, каким был Феличе? Конечно, все

жестоко горевали и не было человека, который удержался бы от слез. Оттавио же, узнав о жалкой смерти друга, бывшего для него вторым я, о злосчастной кончине его Джулии, которая была ему дороже собственной жизни, и сознавая, что он был причиной всему, что совершилось, почувствовал себя самым несчастным, самым горемычным человеком на свете. Задыхаясь под тяжестью обрушившегося на него горя и решив покончить с жизнью, он говорил сам себе:

— Увы, несчастный Оттавио, какая тебе еще радость в этой жизни — тебе, пронзенному дважды? Что может еще утешить тебя, лишившегося тех, кто был единственным твоим благом? Их жестокая смерть отняла у тебя всю сладость жизни. Тебе не жить хочется, а поскорее встретиться с теми, кого злая судьба у тебя похитила, и пусть радуются твои родители, которые сделали из тебя самого жалкого человека на свете, опрометчиво вмешавшись в твою любовь без большой на то необходимости.

Наконец прервав свои сетования, ни слова никому не говоря, несчастный отправился на могилу своей дорогой Джулии, выхватил кинжал, который был при нем, и, обращаясь к мертвой, сказал:

— Джулия, ты была моей жизнью и моей душой, но раз ты лежишь мертвая по моей вине и мне больше не дано увидеть тебя в этой жизни, я хочу встретиться с тобою в другой. Поэтому прими мою страждущую душу в искупление той ошибки, которую я совершил, когда родители своими советами заставили меня тебя покинуть.

И с этими словами, вонзив кинжал в сердце, он упал мертвым на могилу Джулии.

Так жалкой смертью погибли все трое от чрезмерной рассудительности родителей Оттавио и от жестокости свирепого подеста, к великому горю всех жителей Фано, которые и поныне сокрушаются, вспоминая об этом тяжелом и печальном случае.

Однако, оставляя в стороне слишком премудрых родителей Оттавио (их поведение было предосудительно, но проистекало от большой любви, которую они питали к юноше), что мы можем сказать о суровой строгости законов и о тех, кто ими вершит? Ведь законы сами по себе установлены и признаны не для чего

другого, как для блага, и не порождают ничего, кроме блага, если их применять справедливо и разумно, а не свирепо и неумолимо. Ничего другого мы не можем сказать, кроме того, что лучше было бы, чтобы совсем не было законов, чем чтобы их применяли такие люди, каким был тот подеста, и что лучше, чтобы человек руководствовался только законами природы, следуя которым он никогда не впадет в подобные ошибки. Я не знаю, как могла божественная справедливость, которая одна управляет миром, допустить, чтобы невинный Феличе, осужденный по незаслуженному обвинению, задержанный на основании ложных показаний, злодейски замученный на дыбе, только за то, что он не вынес пытки, был умерщвлен этим жестоким человеком с таким позором для самого правосудия! Где найти такого человека, кто, как бы он ни был невинен, устоял бы перед муками, подобных коим не знает и ад и коими люди, уподобившиеся дьяволу и жаждущие человеческой крови, с величайшей жестокостью терзают других людей? Хотел бы я посмотреть на таких людей, которые, находясь под властью им подобных извергов, оказались бы в том же положении, и увидеть, обладают ли они такой стойкостью, чтобы при всей своей невинности перенести столь ужасные пытки. Но если бы властители мира сего воздавали этим выродкам достойную их кару и не принимали бы во внимание таких заявлений, как: «Я следовал велениям разума», «Так мне приказывают законы», «Эта свобода действия мне предоставлена городскими установлениями», «Он не должен был сознаваться — и его не осудили бы и не казнили» и тому подобную болтовню, под прикрытием которой отнимают у человека душу, — мы, без сомнения, увидели бы, что они с такой решительностью не посягали бы на чужую жизнь, и никакая отсрочка не может быть слишком длительной, если речь идет о жизни человека. И если бы этот жестокий правитель отсрочил исполнение своего приговора, Феличе был бы жив и не произошли бы те несчастные события, которые, как я вам это показал, были последствиями его незаслуженной смерти.

[Декада вторая, новелла IV]

КОНСАЛЬВО, ЖЕНИВШИСЬ НА АГАТЕ,
ВЛЮБЛЯЕТСЯ В БЛУДНИЦУ.

ОН РЕШАЕТ ОТРАВИТЬ АГАТУ.

НЕКИЙ ШКОЛЯР ДАЕТ ЕМУ ВМЕСТО ЯДА
СНОТВОРНЫЙ ПОРОШОК. КОНСАЛЬВО ДАЕТ ЕГО ЖЕНЕ,
И ЕЕ, ПОГРУЖЕННУЮ В СОН, ХОРОНЯТ, КАК МЕРТВУЮ.
ШКОЛЯР ИЗВЛЕКАЕТ ЕЕ ИЗ СКЛЕПА И УВОДИТ ДОМОЙ.
МУЖ ПРИГОВОРЕН К СМЕРТИ, А ЖЕНА СПАСАЕТ ЕГО
ОТ КАЗНИ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ ЧЕСТЬ

В Севилье, знатном городе Испании, жил некий дворянин по имени Консальво, который был сладострастным и непостоянным более, чем это подобает благородному человеку. Влюбившись в дворянку, которую звали Агатой, он всячески добивался ее руки, и так как она была бедна, а Консальво очень богат, то родители выдали ее за него, считая, что совершают очень выгодную сделку. Но не прошло и года, как он, пресытившись ею, доказал, насколько бесполезно женщине иметь мужа более богатого, чем порядочного, и насколько лучше выдавать дочерей за мужчин, чем за имущество. И в самом деле, когда в эти края переселилась одна богатая и красивая блудница, которая, хитря и обманывая на тысячу ладов, поработала сердца мужчин, не умевших по просто-

те душевной ей противостоять, то Консальво оказался одним из первых, попавшихся в ее сети; воспылав превыше всякой меры, он дошел до того, что уже не находил себе места, когда был не с ней. А так как она была распущенной и жадной до наживы, не в пример любой другой женщине, она щедро отдавалась не одному только Консальво, а всем, кто к ней приходил с большими деньгами. И это огорчало Консальво настолько, насколько это может представить себе всякий, кто страдает, видя горячо любимую им женщину в чужих объятиях.

В городе жил некий школяр, медик, из благородного дома, постоянный собеседник Консальво. Он так влюбился в Агату, что только о том и мечтал, как бы ею насладиться и, будучи вхож в дом как близкий ее мужу человек, делал все возможное, чтобы она его полюбила и ублажила. Хотя все это ей надоедало и она предпочла бы, чтобы он перестал бывать в ее доме, все же, зная, что муж человек легкомысленный и очень дорожит дружбой школяра, она терпела его домогательства, не подавая, однако, ему никакой надежды добиться от нее чего-либо недостойного ее чести. Школяр же, чтобы восстановить ее против мужа, устроил так, что некая старуха, мастерица склонять сердца женщин к желаниям их поклонников, поведала ей, словно жалея ее, о любви Консальво к блуднице, доказывая, что он не заслуживает от нее такой верности. И, слово за слово, она сказала наконец, что очень глупо ей, будто дурочке, оставаться ни при чем, в то время как муж развлекается с другими женщинами. Агата, как женщина рассудительная и любящая своего мужа, отвечала, что она, конечно, охотно видела бы мужа таким, каким ему следовало быть и каким она хотела бы его видеть, но, раз он человек другого склада, она не желает лишать его свободы, принадлежащей мужчинам то ли вследствие дурных привычек испорченного света, то ли на основании тех привилегий, которые они сами для себя установили; и пускай муж ее делает с другими женщинами все, что ему вздумается, но она никогда не нарушит верности, в которой клялась ему, и никогда не поступится тем стремлением сохранить

свою честь, которое должно быть врожденным в душе каждой женщины и которое всюду на свете считается похвальным; и она тем более обязана поступить так, что не принесла мужу иного приданого, кроме своей чести; вот почему она от своего решения никогда не отступится. А затем, не без некоторого волнения, она добавила, что ее крайне удивляет, как старуха, будучи в том возрасте, когда следует останавливать молодых женщин, соблазненных на такие поступки, дает ей советы, которые ей настолько противны, что, если бы старуха когда-нибудь еще отважилась на такие слова, она заставила бы ее об этом пожалеть.

Старуха доложила школяру обо всем, что ей говорила Агата, и это его очень огорчило. Однако он не переставал любить Агату, утешая себя тем, что нет такого жестокого сердца, которого нельзя было бы в конце концов смягчить любовью, мольбами и слезами. И вот однажды во время беседы Консальво ему сказал, что он пылает к своей блуднице так же, как школяр — к его Агате, и что, имея под боком жену, никогда еще так не жалел об этом, как жалеет сейчас, потому что, не будь у него Агаты, он женился бы на бесстыжей Асельдже (так звали блудницу), ибо она ему дороже всего на свете, и добавил, что, если бы он не боялся меча правосудия, он убил бы свою жену. На эти слова школяр сказал ему, что жена, надоевшая мужу, поистине большая обуза и что достоин извинения тот, кто попытается от нее отделаться.

После того как Консальво раза два поговорил с ним об этом своем желании и убедился, что тот всецело ему сочувствует, он настолько осмелел, что в один прекрасный день сказал:

— Я знаю, что ты мне друг и наша дружба заставляет меня верить, что тебе не менее, чем мне самому, тяжело видеть меня в том состоянии, в каком я нахожусь из-за невозможности жениться на Асельдже. Однако я уверен, что могу у тебя, как у медика, получить лекарство от своего недуга, поэтому я хочу сказать тебе о том, что мне пришло на ум, а также и о том, в чем мне потребуются твои услуги. Я решил умертвить Агату при первой возможности, и вот уже несколько дней как я это обдумываю, и удерживает

меня только невозможность найти способ убить ее так, чтобы меня не обвинили в ее смерти. Но зная, что ты медик, и предполагая, что благодаря долгим годам, посвященным тобою врачебному искусству, ты знаешь много вещей, которые могли бы способствовать осуществлению моего желания, я прошу тебя оказать мне эту любезность, за что буду навеки твоим должником.

Школяр, едва услышав от Консальво эти слова, понял, что перед ним, если он пустит в ход свой ум, может открыться дорога к обладанию Агатой; однако, затаив свою мысль в душе, он сказал другу, что у него действительно нет недостатка в таинственных средствах, отравляющих людей совершенно незаметно, и никто никогда не догадается, что человек, их принявший, умер от яда. Но два соображения удерживают его от того, чтобы оказать ему эту услугу: первое, что врачи существуют на свете не для того, чтобы людей лишать жизни, а для того, чтобы ее сохранять, и второе, что он подвергал бы собственную свою жизнь слишком большой опасности, если бы решился на такое дело. Ведь может же приключиться — как это, вероятно, по воле божьей, в подобных случаях и приключается, — что непредвиденным образом преступление будет раскрыто и что не только Консальво, но и он сам будет приговорен к смерти. Что касается первого соображения, то, по его словам, он не хотел совершать проступка, противоречащего его профессии, что же касается второго, он не хотел рисковать жизнью ради такого дела.

Услыхав это, Консальво ему сказал, что законы дружбы не запрещают поступаться своей честью ради услуги другу и что поэтому он не должен отказываться пойти навстречу его желанию; равным образом и оба приведенные им соображения не должны его удерживать: ведь в наше время в такой же мере считают медиком того, кто убивает людей, как и того, кто их исцеляет, а так как об этой тайне никто, кроме них двоих, знать не будет, нет никакой опасности, что о ней кто-нибудь проведаст; если же все-таки случится, что его обвинят в отравлении жены, то он ему обещает никогда не говорить, от кого был получен яд.

И школяр ответил ему, что раз таково его обещание, он предпочтет его дружбу законам медицины и что он согласен удовлетворить его просьбу. И, покинув повеселевшего Консальво, он отправился домой и составил из разных порошков, одному ему известных, смесь, обладавшую такой снотворной силой, что спящего можно было принять за мертвого. И на следующий день он принес порошок Консальво и сказал ему:

— Вы заставили меня, Консальво, делать то, чего я сам для себя никогда бы не сделал, но раз моя любовь к вам превозмогла во мне чувство справедливости и долга, я прошу вас сдержатъ ваше слово и никому никогда не открывать, что вы этот яд получили от меня.

Консальво так и обещал и спросил его, как пользоваться ядом. Школяр сказал ему, чтобы он с вечера незаметно подсыпал порошок в пищу и что, проглотив его вместе с едой, Агата примет смерть столь тихо и спокойно, что будет казаться спящей. Взяв порошок, Консальво вечером подсыпал его в пищу Агаты, а она, съев ее, почувствовала такую сонливость, что отправилась в свою комнату (так как она не спала вместе с Консальво, кроме тех случаев, когда он сам этого требовал, что случалось очень редко) и легла в постель. Не прошло и часу, как она уже спала, и так крепко, что казалась действительно мертвой. Консальво через некоторое время тоже отправился спать, но, пребывая в душевной тревоге, стал с величайшим нетерпением выжидать наступления дня в твердой уверенности, что найдет жену мертвой. Когда рассвело, он встал, вышел из дому и, вернувшись обратно час спустя, справился об Агате у ее служанки.

— Она еще не вставала, — отвечала та.

— Как она долго спит нынче утром! — сказал Консальво. — Обычно она поднимается до рассвета. Уже два часа как встало солнце, а она все еще спит? Пойди разбуди ее поскорее: я хочу, чтобы она мне дала кое-какие вещи, которые у нее под замком.

Служанка тотчас же выполнила приказание и, отправившись к хозяйке, раза два ее окликнула, а так как та не отвечала, она коснулась ее руками, слегка толкнула и сказала:

— Вставайте, госпожа! Вас господин зовет. Но Агата все не откликнулась, и девушка взяла одну ее руку и сильно встряхнула: а та все молчала и не шевелилась; поэтому служанка пошла к Консальво и сказала ему:

— Не могу, сударь, ее добудиться, что бы я ни делала.

Обрадовавшись, Консальво отвечал:

— Иди и трясги ее, пока не проснется.

Служанка вернулась и сделала то, что он ей приказал, но все было напрасно. Тогда, снова к нему вернувшись, она сказала, что госпожа ее наверняка умерла, так как она нашла ее совсем холодной и бесчувственной.

— Как?! Умерла?! — воскликнул Консальво, произнеся это с притворным изумлением и испугом. И, отправившись к ее кровати, он стал ее звать, трясти, щипать, выворачивать ей пальцы рук и ног, и наконец, так как Агата ничего не чувствовала, он начал кричать, жаловаться, сокрушаться, ударять себя в грудь и проклинать свою судьбу, так рано лишившую его столь верной и любящей жены. Затем, раздев донага и перевернув ее и не обнаружив на ее теле никаких следов отравления, он решил показать, что выполняет все обязанности любящего супруга. Поэтому он позвал всех врачей, какие только были в Севилье. Они пришли и, применив все средства, которые, по их мнению, могли пробудить живого человека, и установив, что она все-таки остается неподвижной и бесчувственной, заключили, что ее настигла внезапная смерть, и, признав ее мертвой, удалились. Услыхав их решение, Консальво, хотя в душе своей и испытывал великую радость, тем не менее притворился, что безмерно огорчен, и, казалось, после смерти жены ему опостылела жизнь. И вот он приказал вызвать родителей жены и вместе с ними без конца горевал о случившемся, а затем устроил пышные и почетные похороны и с большой торжественностью похоронил Агату в склепе, которым владела семья Консальво за чертой города на кладбище братьев обсервантов¹.

¹ В католических монашеских орденах особая категория монахов, ставивших своей целью крайне строгое и точное выполнение всех правил и обрядов, установленных для данного ордена.

Школяр же, который очень хорошо знал это место и имел за городом свой дом, весьма недалеко от этой церкви, в тот же вечер поспешил покинуть Севилью и ночью, выждав время и захватив потайной фонарь, направился к склепу. Был он молод и силен и взял с собой кое-какие орудия для подъема надгробной плиты, а поэтому без труда открыл гробницу и, войдя в нее, схватил в свои объятия Агату, которая, так как действие порошка кончалось, проснулась, едва только он ее поднял. И, увидав себя в одежде покойницы, среди истлевших лохмотьев и костей мертвецов, она воскликнула:

— Увы, несчастная, где я? Кто меня, бедную, сюда положил?

— Ваш неверный муж, — отвечал школяр, — который, отравив вас, чтобы жениться на Асельдже, вас здесь похоронил. А я, движимый состраданием к вашей беде, пришел сюда с нужными лекарствами, чтобы посмотреть, не смогу ли я вновь призвать вашу блаженную душу к исполнению привычных ей обязанностей, а если это мне не удастся, чтобы умереть здесь рядом с вашим телом и, соединившись с ним, остаться в этом склепе. Но так как в этом страшном для вас испытании небо было настолько ко мне благосклонно, что сила лекарств, приготовленных мною для вас, удержала вашу благородную душу в единении с вашим прекраснейшим телом, я хочу, жизнь моя, чтобы вы отныне поняли, какова была верность вашего негодного мужа, и какова моя верность, и кто из нас двоих достоин вашей любви.

Агата, очнувшись в склепе и закутанная в саван, поверила всему, что говорил ей школяр, и ей казалось, что нет человека более коварного и жестокого, чем ее муж. И, обратившись к школяру, она ему сказала:

— Ристи (ибо так его звали), я не могу отрицать, что нет существа коварней моего мужа, и не могу не признать, что нет существа добрее вас. И я должна сказать вам, что, видя себя среди мертвых и одетой, как мертвая, я только от вас узнала, что такое жизнь. Но, если мой муж нарушил свою верность, а я сохранила и буду хранить свою, и если вы хотите, чтобы я дорожила вашим состраданием и дружеской услугой, чтобы я дорожила собственной жизнью, которую вы мне вернули, я прошу

вас, — уважайте мою честь и не умаляйте гнусным намерением (чего я никак не могу представить себе после такого великодушия) тот благородный поступок, который вы совершили и который, только если вы обуздаете свое вожделение и свою необузданную похоть, навеки останется самым добродетельным и самым достойным поступком, когда-либо совершенным благородным дворянином.

Ристи решил убедительными доводами доказать ей, что ее муж уже не имеет на нее никаких прав, а если даже и имеет, то поступок, который обнаружил перед ней всю глубину его душевной низости, настолько гнусен, что ее ожидает неминуемая смерть, если только она снова вернется к нему, и что поэтому ей нечего больше считаться с мужем, но следует, в знак благодарности за оказанное ей благодеяние, благосклонно согласиться на то, чтобы школяр получил возможность насладиться плодом своих трудов. И с этими словами он к ней склонился, чтобы ее поцеловать. Агата его оттолкнула и сказала ему:

— Ристи, если мой муж своим вероломством нарушил законы супружества, то я их не нарушила и никогда не нарушу, пока жива. Что же касается того, чтобы вернуться под его власть, я буду придерживаться вашего совета, но вовсе не потому, что я не вернулась бы к нему с охотой, будь я уверена, что он изменился к лучшему, а лишь для того, чтобы второй раз не подвергаться столь грозной опасности. Если же говорить о достойном вознаграждении за ваши похвальные труды, то я большего не сумею вам дать, как то, что навеки останусь у вас в долгу. Если вам этого достаточно, то это утешит меня в моем горе ровно настолько, насколько это допускает жалкое состояние, в котором я ныне нахожусь. Однако, если бы вам все же захотелось, чтобы гибель моей чести вам послужила наградой, то уйдите, прошу вас, из этого склепа и замуруйте меня в нем, ибо я скорее предпочту погибнуть от жестокости моего мужа, сохранив свою честь, чем заслужить жизнь ценой своего стыда.

И в этих словах избавитель Агаты познал всю ее доброту, и хотя тяжело было ему увидеть в ней верность и твердость духа, которых сама смерть не могла изменить, тем не менее в надежде,

что время когда-нибудь победит ее упорство, он ответил ей, что рад видеть ее в столь добром расположении и поэтому ничего другого от нее не потребует, кроме того, что она сама захочет ему дать. И с этими словами он извлек ее из гробницы, привел к себе в дом и, поручив ее жившей у него старухе, сам вернулся в Севилью, наказав этой женщине позаботиться о том, чтобы расположить Агату в его пользу.

Консальво спустя несколько дней, доказав, что не может жить без женщины, женился на Асельдже, что показалось родителям Агаты весьма странным и повергло их в глубокое смущение. У новой жены с Консальво случилось то же, что у него самого с Агатой, так как Асельджа привыкла иметь не одного мужчину, а сотни и жить в той распущенности, в какой живут подобные ей женщины. Консальво же держал ее в строгости, внушенной ему великой ревностью, которую она вызывала в нем. Он ей до того надоел, что она больше видеть его не могла, и Консальво познал тогда, какова разница между любовью честной женщины и любовью блудницы. И вот, когда Консальво однажды заявил ей, как мало он от нее получает любви, а она ему ответила дерзостью, он пришел в такую ярость, что воскликнул:

— Преступница! Ради того, чтобы тобою наслаждаться, я отравил Агату, которая была самой любящей женщиной, когда-либо вступившей в брак с мужчиной, и в награду за это ты делаешься все наглее и противнее.

Услыхав это, Асельджа увидела, что нашлось средство отделаться от Консальво. Поэтому она уговорила одного из своих любовников открыть родителям Агаты, что ее отравил муж. Они, уже и сами подозревавшие это, отправились к подеста и сообщили ему то, что им рассказали. Подеста тотчас приказал схватить Консальво и блудницу, чтобы установить истину.

Между тем старуха, приставленная к Агате, не переставала подбивать ее на то, чтобы она ублажила освободившего ее школяра. Не в состоянии долгие выносить ее назойливость, Агата в один прекрасный день сказала старухе:

— Скажите Ристи, чтобы он вернул меня в склеп. Мне не так тяжело там умереть, как оставаться здесь и терпеть эту доuku.

Услыхав это, школяр уже решил было применить насилие, раз ни оказанное благодеяние, ни мольбы, ни что другое не могло переубедить Агату.

Но к этому времени Консальво сознался, что отравил жену ядом, который он много лет хранил у себя дома; таким образом он сдержал слово, данное им школяру, и был приговорен к смерти. Это очень пришлось по душе Ристи, решившему, что в случае смерти мужа он окажется обладателем его жены.

Наступил день, когда Консальво должны были отрубить голову, и лишь только это дошло до ушей Агаты, она решила в этот роковой час показать своему вероломному мужу, какова ее верность. И, немедля покинув дом Ристи, она быстрыми шагами отправилась в город и, войдя в приемную подеста и представ перед ним, сказала:

— Сударь, Консальво несправедливо приговорен вами к смерти. То, что он убил свою жену, — неправда, она жива, и это я. А потому не давайте хода вашему приговору. Вы сами видите, что он совсем несправедлив.

При этих словах подеста, считавший ее мертвой, растерялся и смотрел на нее не без некоторого содрогания, думая, что видит не живую женщину, но призрак, так как она была небрежно одета и сильно подавлена тяжким горем, постигшим сначала ее, а затем ее мужа. Между тем стражники привели Консальво к подеста с тем, чтобы он согласно местному обычаю передал им преступника и чтобы они повели его на казнь. Но как только Агата увидела Консальво, она со слезами на глазах и с распростертыми объятиями бросилась к нему и, повиснув на его шее, сказала:

— О муж мой, я вижу, куда привело вас ваше безумие! Вот она, ваша Агата, не мертвая, нет — благодарите бога! — живая, которая и в этот час хочет показать вам, что она та же верная супруга, какой всегда была для вас.

Подеста, увидав все это, тотчас же доложил синьору¹, который, в крайнем изумлении и с трудом этому веря, приказал привести Консальво и его жену и пожелал узнать, как могло случиться, что

¹ То есть правителю города.

Агата, похороненная как мертвая, оказалась здесь живой. Консальво сумел только сказать, что он из-за любви к Асельдже отравил жену, но каким образом она оказалась живой и как попала сюда, объяснить не мог. Жена же показала, как школяр при помощи своих средств спас ее от смерти, но, как он это сделал, она не знала. Вызвав Ристи, синьор узнал, как он вместо яда передал Консальво снотворный порошок — из-за исключительной любви, которую он питал к его жене; школяр добавил, что, хотя Агата и убедилась в жестокости мужа, а он, Ристи, спас ее от смерти, ему тем не менее не удалось поколебать в ней твердого намерения сохранить вместе со своей честью верность мужу.

И синьор понял, что для честной женщины долг чести сильнее всякой обиды, и весьма похвалил хитрость Ристи и верность и любовь Агаты. Обратившись затем к Консальво, он сказал:

— Ты не заслужил такой жены, и было бы справедливо, чтобы она скорее принадлежала Ристи, чем тебе; и хотя она жива, ты не заслужил иной кары, чем та, которая была тебе — уготована, ибо, если взглянуть на дело с твоей точки зрения, ты убил эту благороднейшую женщину. Но я хочу, чтобы добродетель и верность твоей жены пошли тебе на пользу и чтобы ты остался жив — не ради тебя, ибо ты этого не заслуживаешь, но чтобы не доставлять твоей жене те страдания, которые, я знаю, причинила бы ей твоя смерть. Но, клянусь тебе, если когда-либо до меня дойдет, что ты обращаешься с ней недостаточно ласково, то я дам тебе испытать, как я умею карать такие преступления.

Консальво, приписывая свой поступок собственному недомыслию, обещал синьору выполнить все то, что он ему приказал. А в заключение всего Консальво бросил блудницу, на которой он был женат, и безмятежно зажил с Агатой, постоянство которой привело к тому, что если раньше Ристи любил ее за ее красоту, то теперь за ее честность стал боготворить ее как святую, ибо ему казалось, что в смертной женщине невозможно найти большей доброты и большей верности.

[Декада третья, новелла V]

НЕКИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК ИЗ МАВРОВ
ЖЕНИТСЯ НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ ГРАЖДАНКЕ.
ОДИН ИЗ ЕГО ПОРУЧИКОВ ОБВИНЯЕТ ЕЕ
ПЕРЕД МУЖЕМ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ, И МУЖ ТРЕБУЕТ,
ЧТОБЫ ПОРУЧИК УБИЛ ТОГО, КОГО ОН СЧИТАЛ
ПРЕЛЮБОДЕЕМ. МАВР УБИВАЕТ ЖЕНУ,
И ПОРУЧИК НА НЕГО ДОНОСИТ. МАВР НЕ СОЗНАЕТСЯ,
НО НА ОСНОВАНИИ ЯСНЫХ УЛИК ОН ПРИГОВОРЕН
К ИЗГНАНИЮ, А ПРЕСТУПНЫЙ ПОРУЧИК,
ЗАДУМАВ ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,
САМ НАВЛЕКАЕТ НА СЕБЯ ЖАЛКУЮ СМЕРТЬ

В Венеции в былые времена жил некий мавр, человек большой храбрости, и правители этого города, награждающие доблестные поступки щедрее всякой другой когда-либо существовавшей республики, весьма дорожили им как за его личное мужество, так и за великую мудрость и живой ум, которые он проявлял в бранных делах. Случилось так, что одна добродетельная женщина дивной красоты по имени Дисдемона¹, влекомая не женской прихотью, а доблестью мавра, в него влюбилась, а он,

¹ От слова «дисдаймона» — по-гречески «несчастливая».

покоренный ее красотой и благородством ее помыслов, загорелся таким же пламенем, и Амур был настолько к ним благосклонен, что они сочетались браком, хотя ее родители и делали все, что могли, чтобы она вышла замуж не за него, а за другого. И жили они вместе так дружно и так безмятежно, что, пока они оставались в Венеции, между ними не произошло ничего, что не было бы внушено им любовью, — ни одного грубого слова, не говоря уже о поступках.

Но вот настало время, когда правители Венеции меняют гарнизон, который они обычно держат на Кипре, и начальником отправляемых туда солдат назначили мавра. И хотя он был очень счастлив, узнав об оказанной ему чести — ведь эта высокая должность присуждается только благородным, сильным и верным людям, доказавшим свое мужество, — тем не менее радость его омрачалась всякий раз, как он представлял себе продолжительность и невзгоды путешествия, раздумывая о том, как трудно будет Дисдемоне его перенести. Она же, не имевшая на свете ничего дорогого, кроме мавра, и радуясь от всей души признанию, полученному мужем за его доблесть от республики, столь могущественной и почтенной, не могла дожидаться того часа, когда ее супруг вместе со своими людьми отправится в путь и она последует за ним на столь почетное место. Однако смущение мавра доставило ей великое огорчение, и, не подозревая причины, она однажды за трапезой сказала ему:

— Как это понимать, мой мавр, что, получив от синьории столь почетную должность, вы так затосковали?

И мавр отвечал Дисдемоне:

— Смущает мою радость, вызванную оказанной мне честью, моя любовь к тебе, так как я вижу, что неизбежно должно случиться одно из двух: либо я возьму тебя с собой, подвергая тебя опасностям морского плавания, либо оставлю в Венеции, чтобы тебя от них уберечь. Нелегко мне будет в первом случае, ибо каждое перенесенное тобою лишение, каждая приключившаяся с нами беда будет для меня мукой непомерной, а во втором, —

вынужденный тебя покинуть, я возненавидел бы самого себя, ибо, расставшись с тобой, я расстался бы с собственной жизнью.

Услышав это, Дездемона сказала:

— Увы, супруг мой, что за мысли приходят вам в голову? Как вы допускаете, чтобы все это вас смущало? Хочу ехать с вами куда бы то ни было, хотя бы мне пришлось пройти в одной рубашке сквозь пламя, а не то что плыть по воде вместе с вами на надежном и хорошо оснащенном корабле. И пусть там будут невзгоды и опасности, я хочу делить их с вами, и я почитала бы себя мало вами любимой, если бы вы решили оставить меня в Венеции, чтобы я не сопровождала вас на море, или если бы вы убедили себя в том, что я скорее предпочту оставаться здесь, в тиши, чем вместе с вами подвергаться общей опасности. Вот я и хочу, чтобы вы снаряжались в путь со всей той радостью, которую заслуживает ваше высокое звание.

На это мавр, не помня себя от счастья, бросился обнимать жену и с нежным поцелуем сказал ей:

— Да сохранит нам господь такую любовь на долгие годы, дорогая моя жена!

И вскоре, собрав свое снаряжение, приготовившись к пути, он вместе с супругой и со всем своим отрядом вошел на галеру и, подняв паруса, пустился в плавание; и в течение всего пути до Кипра море было совершенно спокойно.

А был у него в отряде один поручик весьма красивой наружности, но по природе своей такой негодяй, каких свет не видывал. Он был очень любим мавром, который не подозревал его гнусности, ибо тот, имея подлую душу, тем не менее прятал затаенную им в сердце подлость за возвышенными и высокопарными словами и за своей обманчивой наружностью, а потому казался скорее похожим на какого-нибудь Гектора или Ахиллеса. Злодей этот тоже привез на Кипр свою жену, красивую и честную молодую женщину, которая, будучи итальянкой, пользовалась большой любовью жены мавра и проводила с ней большую часть дня. В том же отряде был еще и капитан, которым мавр очень доро-

жил. Он очень часто бывал в доме у мавра и нередко обедал вместе с ним и с его женой. Поэтому Дисдемона, зная, насколько он был по душе ее мужу, оказывала ему величайшее благоволение, что также было очень дорого мавру.

Между тем подлый поручик, нисколько не считаясь ни с верностью своей жены, ни с дружбой, верностью и всем тем, чем он был обязан мавру, со всей страстью влюбился в Дисдемону и только и думал, как бы добиться возможности ею обладать. Однако он не решался себя обнаружить, боясь, что мавр убьет его на месте, если догадается об этом. Правда, он всякими способами пытался, как можно более незаметно, дать ей понять, что он ее любит, но она, имевшая в мыслях только мавра, не думала ни о поручике, ни о ком другом. И все, что он предпринимал, чтобы заронить ей в душу искру любви к себе, не приводило ни к чему. Поэтому он вообразил, будто это происходит оттого, что она воспылала к капитану, и решил убрать его со своей дороги. И не только эта мысль им овладела, но любовь его к Дисдемоне превратилась в жесточайшую к ней ненависть, и он стал упорно соображать, как бы добиться того, чтобы, убив капитана, лишить мавра возможности наслаждаться женщиной, раз и сам он этой возможности лишен. И, перебирая в душе различные планы, одни преступнее и гнуснее других, он наконец решил обвинить ее перед мужем в прелюбодеянии, дав ему понять, что прелюбодей не кто иной, как капитан. Однако, помня об исключительной любви, которую мавр питал к Дисдемоне, и о его дружбе с капитаном, он ясно понимал, что невозможно убедить мавра ни в том, ни в другом, иначе как обманув его хитрой ложью. И вот он стал выжидать, пока удобное время и место не откроют ему пути к осуществлению его преступного замысла.

Прошло немного времени, и мавр разжаловал капитана за то, что тот в карауле обнажил меч и нанес несколько ран одному из солдат. Этот случай глубоко огорчил Дисдемону, и она не раз пыталась примирить мужа с капитаном. Между тем мавр как-то сказал преступному поручику, что жена его так ему досаждала по

поводу этого капитана, что он боится, как бы ему в конце концов не пришлось снова принять его. Из этого негодьяй сделал вывод, что ему пора приступить к выполнению своего коварного плана, и сказал:

— Быть может, у Дисдемоны есть и свои основания охотно с ним видеться.

— Это почему? — произнес мавр.

— Я не хочу, — отвечал поручик, — ввязываться между мужем и женой, но если вы откроете глаза, то сами увидите почему.

Но сколько мавр ни добивался, поручик переводил разговор на другое, хотя слова его, как острая заноза, засели в душе мавра, который упорно ломал голову над их значением и совсем от этого загрустил.

И вот, когда в один прекрасный день жена его, снова заведя речь о капитане, пыталась смягчить его гнев и умоляла из-за ничтожного случая не забывать многолетнюю его службу и дружбу, тем более что раненый солдат и капитан уже примирились, мавр пришел в ярость и сказал ей:

— Уж очень ты, Дисдемона, о нем заботишься, а ведь он тебе ни сват ни брат, чтобы так это принимать к сердцу!

Она же ласково и кротко отвечала:

— Я бы не хотела, чтобы вы на меня сердились, но мне жалко, что вы лишились такого доброго друга, каким, как вы сами это утверждали, был для вас капитан. Ведь он и не совершил такого уж тяжкого проступка, чтобы вы настолько его возненавидели. Вы, мавры, так горячи, что выходите из себя и жаждете мести из-за всякого пустяка.

На эти слова, гневаясь пуще прежнего, мавр отвечал:

— Всякий, кто тому не верит, может испытать это на себе! Я так сумею отомстить за обиды, что всласть упьюсь своей мезтью!

Дисдемона вся обомлела от испуга при этих словах и, видя, как муж впервые на нее вспылал, робко промолвила:

— Ничего, кроме добрых намерений, меня не заставляло вам об этом говорить. Но чтобы вы на меня больше не сердились, я впредь об этом ни слова вам не скажу.

Мавр, видя, что жена снова настаивает на своем в пользу капитана, вообразил, что в словах, сказанных ему поручиком, подразумевалась любовь Дездемоны к капитану, и, в глубокой тоске отправившись к негодяю-поручику, стал добиваться от него более открытых признаний. Поручик же, решивший погубить несчастную женщину, сначала делал вид, что не хочет говорить ему ничего неприятного, но наконец, притворившись побежденным мольбами мавра, сказал ему:

— Не могу отрицать, что мне невероятно тяжело говорить вам вещь, досадней которой для вас и быть не может, но раз вы все-таки хотите, чтобы я вам ее сказал, и раз мой долг заботиться о чести моего господина также меня к тому вынуждает, я не хочу отказывать ни вашей просьбе, ни своему долгу. Так знайте же: опала капитана только потому огорчает вашу жену, что она лишилась того удовольствия, которое она от него получала, когда он приходил в ваш дом, — как женщина, пресытившаяся вашей чернотой.

Слова эти пронзили сердце мавра до самой глубины, но, чтобы узнать еще больше (хотя он верил тому, что говорил поручик, ибо сомнение уже успело зародиться в его душе), он произнес со свирепым видом:

— Не знаю, что мне мешает отрезать твой наглый язык, посмевающий так опозорить мою жену!

На это поручик сказал:

— Иной награды, полковник, я и не ожидал за свою дружескую услугу, но раз уж чувство долга и забота о вашей чести завели меня так далеко, я вам повторяю, что дело обстоит именно так, как вы это слышали. Если же эта женщина так сумела отвести вам глаза своей притворной любовью, что вы не видите того, что должны были видеть, то это еще не основание, чтобы слова мои были неправдой. А говорил мне это сам капитан, как человек, которому кажется, что счастье его не полно, если он им не поделился с кем-нибудь другим, — и он добавил: — Если бы я не страшился вашего гнева, я убил бы его, оплатив ему по заслу-

гам за его слова. Я сообщил вам то, что вам надлежало знать более, чем кому-либо. Но, получив за это столь неподобающую награду, я должен замолчать, чтобы не навлечь на себя вашу немилость.

На это мавр, вне себя от ярости, сказал:

— Если ты мне не дашь увидеть собственными глазами то, о чем ты говорил, будь уверен, я дам тебе понять, что лучше было бы тебе родиться немым.

— Мне было бы нетрудно это сделать, — возразил ему злодей, — если бы он приходил к вам в дом, но после того как вы его прогнали (не за то, за что следовало, а по пустому поводу), мне это будет нелегко. Правда, я полагаю, что он продолжает наслаждаться Дисдемоной всякий раз, как вы предоставляете ему эту возможность; тем не менее теперь, когда он навлек на себя ваш гнев, ему приходится делать это гораздо более осторожно, чем раньше. Однако я не теряю надежды показать вам то, чему вы отказываетесь верить.

И на этом они расстались.

Бедный мавр, словно пронзенный ядовитейшей стрелой, вернулся домой в ожидании дня, когда поручик покажет ему то, что должно было сделать его несчастным навсегда. Однако и проклятому поручику не меньшую заботу доставляла Дисдемона, которая, как он это знал, свято блюла свое целомудрие, и ему казалось, что ему так и не удастся заставить мавра поверить в его клевету. Наконец, перебрав в уме разные возможности, мерзавец задумал новую хитрость.

Жена мавра, как я уже говорил, часто навещала жену поручика и проводила в ее доме большую часть дня. Заметив, что она иногда носит с собой носовой платок, и зная, что платок этот был подарен ей мавром — а был он тончайшей мавританской работы — и сама она, равно как и мавр, особенно им дорожила, поручик решил тайком похитить его и этим окончательно ее погубить. У поручика была трехлетняя дочка, которую Дисдемона очень любила, и вот однажды, когда несчастная женщина при-

шла в дом этого негодяя, он взял девочку на руки и передал ее Дисдемоне, и та, приняв ее, прижала девочку к груди. В это время обманщик, отличавшийся большой ловкостью рук, вытаскивал у Дисдемоны платок из-за пояса так осторожно, что она и не заметила, и в полном удовлетворении отошел. Дисдемона, ничего не подозревая, отправилась домой и, занятая другими мыслями, не вспоминала о платке. Однако, несколько дней спустя, хватившись его и не находя, совсем оробела, боясь, что мавр его потребует у нее, как это иногда бывало. А между тем подлый поручик, дождавшись удобного случая, зашел к капитану и с изощренным коварством оставил платок у изголовья его кровати. Капитан же заметил это только на следующее утро, когда, вставая с постели, наступил на упавший платок. Не представляя себе, как он к нему попал, но признав, что он принадлежит Дисдемоне, он решил его возвратить. Дождавшись, когда мавр уйдет из дому, он подошел к заднему входу и постучался. Но по воле судьбы, которая словно сговорилась с поручиком, чтобы погубить несчастную женщину, как раз в это время мавр вернулся домой и, услышав стук и выглянув в окно, гневно спросил:

— Кто там стучит?

Капитан, услышав голос мавра и боясь, как бы он, на его беду, не спустился, не отвечая ни слова, бросился бежать. Мавр, спустившись с лестницы и отворив дверь, вышел на улицу, но сколько ни искал, никого не нашел. Тогда, вернувшись в дом, он в досаде спросил жену, кто там внизу стучал. Она, не кривя душой, ответила, что не знает, но мавр продолжал:

— Мне показалось, что это был капитан.

— Не знаю, — сказала она, — был ли то капитан или кто другой.

Мавр сдержал свое бешенство, хотя весь пылал от гнева, и решил ничего не предпринимать, не поговорив с поручиком, к которому он тотчас же и направился, и, рассказав о происшедшем, попросил его узнать от капитана по возможности все обстоятельства дела. Тот, обрадовавшись столь счастливому случаю, обещал

это сделать. И вот однажды он завязал разговор с капитаном, когда мавр находился в таком месте, откуда он мог видеть, как они друг с другом беседуют. Говоря с ним о чем угодно, только не о Дисдемоне, он корчился от смеха и, изображая изумление, проделывал разные движения головой и руками, словно слыша всякие удивительные вещи. Как только мавр увидел, что они разошлись, он подошел к поручику, чтобы узнать от него все то, что говорил ему капитан. Поручик, заставив себя долго просить, наконец сказал:

— Он от меня ничего не скрывал и сказал, что наслаждается вашей женой всякий раз, как вы, уходя из дому, предоставляете ему эту возможность, и что в последний раз, когда он был с ней, она подарила ему носовой платок, который вы дали ей как свадебный подарок.

Мавр поблагодарил поручика и решил, что если у жены его платка не окажется, то можно считать доказанным, что все обстоит так, как сказал поручик. Поэтому однажды после обеда, заведя с женой разговор о том о сем, он попросил у нес платок. Несчастливая, которая этого так боялась, вся зарделась при этом вопросе и, чтобы скрыть румянец, который мавр прекрасно заметил, бросилась к ларю, делая вид, что ищет. Наконец после долгих поисков она сказала:

— Не знаю, как это я не могу его найти. Может быть, вы его взяли?

— Если бы я его брал, — возразил он, — зачем я стал бы у тебя его спрашивать? Другой раз поищешь, на досуге.

И пошел, раздумывая о том, как убить жену, а вместе с ней и капитана, но так, чтобы его не обвинили в ее смерти. А думал он об этом и день и ночь, и жена не могла не заметить, что он стал уже не тем в обращении с ней, каким был раньше, и не раз ему говорила:

— Что с вами? Чем вы так расстроены? Вы, прежде самый веселый человек на свете, стали теперь самым угрюмым.

Мавр находил всякие отговорки, которые ее, однако, нисколь-

ко не удовлетворяли. Она, правда, не знала за собой такого проступка, который мог бы вывести мавра из себя, но сомневалась, не пресытился ли он ею от избытка наслаждения. И иногда в беседе с женой поручика она говорила:

— Не знаю, что мне и думать о мавре: он всегда бывал со мною так ласков, а теперь вот уже несколько дней, не припомню сколько, стал каким-то совсем другим. Как бы мне не сделаться устрашающим примером для девушек, которые выходят замуж против воли своих родителей, и как бы итальянские женщины не научились от меня не соединяться с человеком, от которого нас отделяет сама природа, небо и весь уклад жизни. Но так как я знаю, что он большой друг вашего мужа и обсуждает с ним все свои дела, я прошу вашей помощи, если вы только узнаете от мужа что-нибудь, о чем вы меня можете предупредить.

И все это она говорила, обливаясь слезами. Жена поручика была обо всем осведомлена, так как муж решил сделать ее соучастницей убийства Дисдемоны, но она ни за что на это не соглашалась; однако, в страхе перед мужем, она боялась проговориться и отвечала лишь одно:

— Берегитесь только, как бы муж вас не заподозрил в измене, и всячески пытайтесь убедить его в вашей любви и верности.

— Я так и делаю, — говорила несчастная, — но это мне не помогает.

Между тем мавр жаждал еще раз убедиться в том, чего ему втайне обнаруживать не хотелось, и попросил поручика устроить так, чтобы он мог увидеть платок в руках капитана. Хотя негодяю и трудно было это сделать, он тем не менее обещал приложить все старания к тому, чтобы мавр в этом удостоверился.

У капитана в доме была женщина, которая чудесно вышивала по реймсскому полотну и которая, увидев платок и узнав, что он принадлежит жене мавра и должен быть ей возвращен, начала вышивать другой такой же платок с тем, чтобы закончить его прежде, чем первый будет возвращен. Поручик же устроил так, что она во время работы сидела у окна на виду у прохожих и что мавр ее увидел.

И теперь мавр уже не сомневался, что добродетельнейшая его супруга в самом деле ему изменила, и он договорился с поручиком убить ее и капитана. Когда оба они обсуждали, как за это взяться, мавр попросил его взять на себя убийство капитана, обещая ему, что будет навеки его должником. Но так как поручик отказывался от этого дела, очень трудного и опасного, ссылаясь на то, что капитан не менее осторожен, чем отважен, мавр, после долгих уговоров, дал ему наконец хорошую сумму денег и заставил обещать, что он попытает счастья. И вот, когда все было решено и когда однажды вечером капитан выходил от одной блудницы, с которой он развлекался, поручик, пользуясь темнотою, подошел к нему с обнаженной саблей и ударил его по ногам, чтобы он упал; и случилось так, что он ему рассек правое бедро, от чего несчастный и повалился. Поручик бросился к нему, чтобы его прикончить, но капитан, человек смелый, выдавший на своем веку немало крови, хотя и был очень тяжело ранен, выхватил шпагу и, приподнявшись для защиты, закричал во весь голос: «Убивают!» Услыхав, что сбегается народ и солдаты, которые были расквартированы поблизости, поручик, чтобы не попасться, бросился бежать, но потом, повернув обратно, сделал вид, что и он прибежал на шум. Стоя среди других и увидев отсеченную ногу, он решил, что капитан, хотя и жив, но наверняка умрет от такой раны, и, как он ни ликовал в душе, все же стал горевать над капитаном, как над родным братом.

Наутро молва об этом распространилась по всему городу и дошла до ушей Дисдемоны, которая, как женщина большой доброты, не подозревая, какую бедой ей это грозит, не скрывала своего величайшего горя по поводу случившегося. Но мавр сделал из этого наихудшие выводы и, отправившись к поручику, сказал ему:

— Ты знаешь, эта ослица, моя жена, так волнуется из-за капитана, что чуть с ума не сходит.

— А как же вы могли, — сказал тот, — ожидать другого, раз она в нем души не чает?

— Души? Ах вот как! — отвечал мавр. — Я сумею выгнать эту душу из ее тела, и я не считал бы себя мужчиной, если бы не избавил мир от такой гадины.

И в то время как они рассуждали друг с другом о том, какой смертью должна умереть эта женщина — от яда или от ножа, — и не могли остановиться ни на том, ни на другом, поручик сказал:

— Мне пришел в голову один способ, который вас удовлетворит и не вызовет никаких подозрений, а способ этот таков: дом, где вы живете, очень стар, и потолок в вашей спальне весь в трещинах; Дисдемону я предлагаю убить с помощью мешочка, туго набитого песком¹, чтобы на ней не было никаких следов от ушибов, а когда она будет мертва, мы обрушим на нее часть потолка и проломим ей череп, чтобы казалось, будто он пробит упавшей балкой, которая и является причиной смерти; таким образом, вас никто не заподозрит, будут считать, что она погибла от несчастного случая.

Мавру понравился этот жестокий совет и, выждав подходящее время, однажды ночью, когда он находился с женой в постели, а поручик, спрятанный им в комнатке, выходящей в спальню, стал согласно их уговору производить в ней какой-то шум, мавр, услышав это, тотчас же сказал жене:

— Ты слышала шум?

— Слышала, — отвечала она.

— Встань, — продолжал он, — и посмотри, в чем дело.

Встала злосчастная Дисдемона, и едва подошла к комнатке, как из нее вышел поручик (а был он силачом, человеком двухжильным) и нанес ей мешочком, который держал наготове, жестокий удар по середине спины, отчего она сразу упала, не успев перевести дыхание. Но из последних оставшихся у нее сил она слабым голосом позвала мавра на помощь. Он же, встав с постели, стал говорить ей:

— Вот тебе, преступнейшая из женщин, награда за твое бес-

¹ Этот способ казни применялся инквизицией.

честие! Так поступают с теми, которые притворяются, что любят своих мужей, и наставляют им рога.

Бедняжка, услышав эти слова и чувствуя, что ей приходит конец, так как поручик ударил ее еще раз, сказала, что она берет в свидетели своей верности божественную справедливость, раз земная ей изменяет, и, призвав господа на помощь, она осталась недвижима, убитая третьим ударом, который ей нанес нечестивец. Затем, положив ее на кровать и размозжив ей голову, они вдвоем с мавром, как уговорились, обрушили потолок спальни, и мавр стал кричать, что рушится дом, и звать на помощь. На его голос сбежались соседи и, разобрав крышу, обнаружили под балками мертвую женщину.

Смерть ее опечалила каждого, кто знал, сколь добродетельна была она при жизни.

На следующий день Дисдемону похоронили, к общему огорчению всех жителей. Однако господь, справедливый блюститель душ человеческих, не допустил того, чтобы столь великое злодейство осталось без достойного возмездия. И действительно, мавр, которому жена его была дороже глаз, увидев, что лишился ее, так по ней затосковал, что, как безумный, ходил и искал ее по всему дому; поняв в глубине души своей, что поручик был причиной того, что вместе с ней он потерял всю сладость жизни, и самого себя, он так возненавидел изверга, что видеть его не мог, и, если бы не страх перед непреклонным правосудием венецианских правителей, он убил бы его на глазах у всех. Но, отказавшись от этого намерения ради своей безопасности, он лишил его права носить знамя и не стал его больше терпеть в своем отряде, отчего между ними зародилась жестокая вражда, больше и глубже которой себе и представить невозможно.

И вот поручик, этот последний из преступников, направив все свои помыслы на гибель мавра, отыскал капитана, который уже выздоровел и ходил с деревянной ногой вместо отрубленной, и сказал ему:

— Настало время, когда ты сможешь отомстить за свою отрубленную ногу, и, как только ты пожелаешь поехать со мной

вместе в Венецию, я тебе скажу, кто был твоим обидчиком, так как здесь я не посмел бы тебе этого сказать по многим причинам, и буду свидетельствовать в твою пользу перед судом.

Капитан, который чувствовал себя глубоко оскорбленным, но не знал кем, поблагодарил поручика и отправился с ним в Венецию. Когда они туда приехали, поручик ему сказал, что ногу ему отрезал мавр, которому взбрело в голову, что он спал с Дисдемоной, и что по этой самой причине он убил и ее, а потом распустил слух, что виной этому обвалившийся потолок. Капитан, услышав это, обвинил мавра перед синьорией и в том, что он лишил его ноги, и в том, что он убил свою жену. Он вызвал в свидетели поручика, который подтвердил и то и другое, показав, что мавр во всем с ним советовался и хотел склонить его и к тому и к другому преступлению и что, когда он потом убил свою жену из проснувшейся в нем звериной ревности, то рассказал ему и о способе, которым он ее умертвил. Правители Венеции, услышав о жестокости, проявленной варваром по отношению к их согражданке, приказали схватить мавра на Кипре и привезти его в Венецию; здесь его всячески пытали, чтобы дознаться истины. Однако он, преодолевая силой духа своего любую муку, столь упорно все отрицал, что от него так ничего и не добились. Но если он благодаря своей стойкости и избежал смерти, то все же после долгих дней, проведенных им в тюрьме, он был осужден на вечное изгнание, где наконец, и был убит родичами своей жены, как того заслуживал.

Поручик же вернулся на родину и, верный своим привычкам, обвинил некоего своего товарища в том, что тот подстрекал его к убийству одного своего врага, который был дворянином. Обвиняемый был взят и подвергнут пытке. Но так как он отрицал возведенный на него поклеп, то на поверку стали пытаться и поручика, которого так долго продержали на дыбе, что повредили ему все внутренности и он, вернувшись домой, погиб жалкой смертью.

Так господь отомстил за невинность Дисдемоны.

Жена поручика, знавшая обо всех этих событиях, рассказала о них после смерти мужа именно так, как рассказал их вам я.

[Декада третья, новелла VII]

СЛУГА ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ЖЕНУ СВОЕГО ХОЗЯИНА,
И, ЧТОБЫ ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛИ,
ОН, ПОЛЬЗУЯСЬ РЕВНОСТЬЮ ХОЗЯЙКИ К МУЖУ,
ВНУШАЕТ ЕЙ, ЧТО МУЖ СОБИРАЕТСЯ
ИЗМЕНИТЬ ЕЙ С ДРУГОЙ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНОЙ,
И ПРИ ПОМОЩИ ЭТОГО ОБМАНА
ПОЛУЧАЕТ ОТ НЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.
ОНА, ОБНАРУЖИВ ЕГО ВЕРОЛОМСТВО,
МСТИТ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ И УБИВАЕТ СЕБЯ,
СМЫВАЯ СВОЙ ПОЗОР СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ

Должно вам знать, что в Сульмоне жила очень благородная и честная молодая женщина по имени Ифоромена, гречанка по происхождению. Замужем она была за добродетельным молодым человеком, которого звали Публио и который любил жену больше собственных очей. Она же была настолько увлечена своим мужем, что ей казалось, будто даже птицы собираются его у нее похитить. Поэтому она стала безумно его ревновать, и достаточно было Публио взглянуть на другую женщину, чтобы она тотчас же его заподозрила и крепко с ним повздорила. Зная, что это происходит не от чего другого, как от любви, которую к нему питает Ифоромена, муж покорно терпел ее невыносимо вздор-

ный нрав, лишь иногда укорял ее за напрасную ревность, пытаясь убедить, что любит ее превыше всего на свете, и говорил, что скорее лишится жизни, чем нарушит ту верность, в которой он ей клялся. Такими и подобными им словами молодой человек старался успокоить жену и рассеять напрасные подозрения, которые заставляли ее ссориться с ним и сердиться. Однако ничто не помогало, так как чем больше муж изоощрялся, доказывая свою верность, тем больше разрасталась в ней сведавшая ее ревность.

Между тем в нее самым пламенным образом влюбился один из домашних слуг, который был одного возраста с Публио и во многом с ним схож по внешности. И хотя слуга этот сознавал свое низкое происхождение, он тем не менее не переставал лелеять надежду, что в конце концов как-нибудь да сумеет насладиться своей любовью, которую он ни в чем не решался обнаружить, зная, насколько жена верна своему мужу, и боясь, что, если на его беду муж узнает о его помыслах, он окажется самым несчастным человеком во всей Сульмоне, ибо храбрость Публио не уступала его благородству. Итак, слуга пылал втихомолку, и пламя горело в нем тем сильнее, чем усерднее его приходилось скрывать. Однако не обходилось без того, чтобы он не испытывал большого удовлетворения всякий раз, когда хозяйка ему что-либо приказывала, а он, выполнив это, чувствовал, что он ей угодил. Ифоромена же, которой такая любовь никак не могла прийти в голову, видела только, что он служит ей с большой преданностью и очень старательно, и часто говорила мужу, когда у них заходила речь о слугах, что во всем городе едва ли найдется дворянин, имеющий подобного слугу. А слуга, когда узнавал об этом, молча радовался хорошему мнению, которое имела о нем госпожа.

Итак, он продолжал пылать скрытым огнем и не решался даже глаз поднять на свою хозяйку, а между тем до Ифоромены дошел слух, что Публио влюблен в одну молодую женщину из округи. Это повергло ее в глубокую тоску, и она только и думала о том, как бы застать мужа на месте преступления и доказать ему на деле, что она ревнует его не понапрасну. А так как ей каза-

лось, что слуга, к которому муж ее был, видимо, очень привязан, должен об этом что-нибудь знать, она, выбрав подходящее время и место, сказала слуге:

— Тебе, насколько я знаю, известно все, что делает твой господин, так как он с тобою советуется обо всех своих делах, а это заставляет меня предположить, что тебе должны быть ведомы также и его любовные дела. А так как я уверена, что его желания в отношении женщин не ограничиваются моей особой, я хотела бы, чтобы ты мне сказал кого он любит и как далеко они зашли в своей любви. Все, что ты мне об этом скажешь, доставит мне особое удовольствие, и я сумею прилично тебя вознаградить.

Услыхав эти слова, слуга подумал, что ревность этой женщины может дать ему возможность удовлетворить свое желание, и решил попытаться счастья.

Муж Ифоромены был своим человеком в доме одной гражданки, его кумы, очень милостивой и обходительной, и проводил время в приятной беседе с ней и с ее мужем всякий раз, как хотел отдохнуть от жены, досаждавшей ему своей ревностью. Слуга решил этим воспользоваться, чтобы обмануть Ифоромену, и сказал ей:

— Хотя я знаю, что ничего, кроме неприятности, я этим не доставляю своему господину, который, как вы сказали, доверяет мне все свои тайны, тем не менее больше считаясь с желанием вам угодить, чем с угрожающими мне бедами, и если вы мне обещаете хранить в тайне то, что хотите от меня узнать, я открою вам нечто такое, что, как я полагаю, будет для вас чрезвычайно важно.

— Даю тебе честное слово, — сказала Ифоромена, — ничего не говорить такого, чего бы ты не захотел. И вот залог этого. Дай мне руку.

Слуга не заставил себя долго просить, чувствуя, что ему выпал долгожданный жребий, и протянул ей руку. Она ее взяла и, пожав, сказала:

— Я хочу, чтобы это было печатью моего слова.

И бедняжка в жажде того, что должно было погубить ее навсегда, стала слушать вымыслы этого негодяя. А он заговорил так:

— Сударыня, раз вы обещали, меня не выдавать, вы должны знать, что ваш муж без памяти влюбился в вашу куму (злодей знал, что он говорит ложь, но суетный Амур подстрекал его с такой силой, что он всеми правдами и неправдами решил добиться своего), да и она так к нему воспылала, что и выразить трудно, и они сговорились друг с другом встретиться при первой возможности.

Едва это услышав, Ифоромена сказала:

— Недаром я удивлялась, почему он с ней водится. Но — клянусь крестом господним! — как только я ее увижу, я выцарапаю ей глаза.

— Нет, прошу вас этого не делать, — сказал слуга. — Об этой любви никто не знает, кроме вашего мужа и меня и как только вы это сделаете, он подумает, что я вам все рассказал, и вы меня погубите. К тому же, если об этом узнает муж кумы, он чего доброго схватится за оружие и убьет вашего мужа, а если ваш муж убьет кума, то у него тотчас же отнимут все, чем он владеет, и он будет вынужден бежать отсюда, вы же останетесь в нужде и без мужа. Вот почему, принимая все это во внимание, по совокупности и порознь, я умоляю вас, сударыня, умерить ваш гнев и ждать, чтобы всевышний указал иное средство покарать вашего мужа так, чтобы ему неповадно было наносить вам такие оскорбления.

— Какой же это может быть способ? — спросила она.

Тогда слуга сказал ей:

— Так как кума не имеет возможности ублажать собою вашего мужа в своем доме, где их могут поймать слуги, которых там очень много, она собирается укрыться где-нибудь на стороне, где она спокойно сможет это делать. Как только это случится, я тотчас же вам дам об этом знать, а там вы уж сами примете наилучшее решение. Обещаю вам и со своей стороны об этом подумать и, по мере своих сил, помочь вам при этих обстоятель-

ствах так наказать вашего мужа, чтобы он соблаговолил быть всецело вашим и любить вас такую же любовью, какой любите его вы.

Совет вероломного слуги понравился Ифоромене, у которой глаза рассудка были затуманены ревностью, и она попросила его поступить так, как он ей обещал.

А была у него в уединенной деревне свояченица, которой он очень доверял, и, под видом доброго дела, он с ней обо всем договорился. Затем, условившись, в каком порядке им действовать, он отправился к Ифоромене и сказал ей:

— Сударыня, господин мой намерен встретиться завтра с кумой, и я должен быть их провожатым. Если вам угодно, я устрою так, что вы не только его накроете, но будете с ним лежать вместо кумы. Нечего спрашивать, понравилось ли это Ифоромене, и она с большой готовностью согласилась сделать все, что ей советовал слуга, сказав:

— Ты хорошо придумал, и, если я его застану, я наговорю ему таких гнусностей, которых еще ни одна жена не говорила провинившемуся мужу.

— Не хочу, чтобы вы это делали, — возразил слуга, — ибо не считая уж того, что это было бы странной наградой за мое желание вам услужить, принимав во внимание наказание, которое я наверняка понесу от своего господина, вы к тому же сами себя лишите возможности когда-либо еще его застигнуть. Я больше скажу вам: они с кумой договорились забавляться этой игрой только при постоянном молчании, чтобы та, в доме которой они встретятся, услышав их разговор, не догадалась, кто они, и чтобы из этого не возникло сплетни. Поэтому женщина должна туда прийти тайком с закрытым лицом. Вот почему, сударыня, так как он будет молчать, молчите и вы, и я даю вам слово, что всякий раз, как он вздумает этим заниматься либо с кумой, либо с другой женщиной, я всегда подсуну ему вас вместо них.

Ифоромена успокоилась на том, что ей говорил слуга, и не могла дожидаться часа, когда она сможет приступить к делу. Не-

годяй же испытывал нисколько не меньшее нетерпение. Он знал, что в определенный день, о котором Публио ему в свое время уже говорил, тот собирался отправиться за город, и потому негодяй отдал распоряжения, вам уже известные.

Едва только наступил следующий день, Публио, отпросившись у жены, отправился в деревню, но слуга дал ей понять, что он только делает вид, будто едет в свое поместье, и что на самом деле он скрылся в доме одного своего друга, чтобы провести время со своей возлюбленной тайком от жены, — и заставил Ифоромену переодеться и закрыть лицо. Затем, исполняя обязанности поводыря, он отвел ее в дом к своей свояченице, которая, обо всем до точности предупрежденная, ни слова не говоря, взяла ее за руку и отвела в темную комнату, куда никакой свет не проникал. Сделав это, слуга притворился, что пошел за Публио, и, вернувшись через некоторое время с закутаным в плащ лицом, он в этом виде снова вошел в дом свояченицы, которая, думая, что он муж этой женщины, как он ее в том убедил, взяла его за руку и отвела туда, где была Ифоромена, успевшая уже раздеться и в одной рубашке лечь в постель. Слуга, войдя в комнату и тоже раздевшись, лег в постель, со страстной жадностью обнял свою госпожу и, дав ей несколько сочных поцелуев, стал выколачивать ей шубу так, что она осталась этим очень довольна. А так как она думала, что это Публио, то ей казалось, что ее, под видом возлюбленной, обнимают гораздо горячее, чем это делал Публио, когда проводил с ней время как муж. Все обошлось бы удачно для нее и для слуги, если бы судьба не влила ложки дегтя в бочку с медом. Действительно, когда она оделась, оставив подлеца в постели, и, как раньше, закрыв лицо, собиралась вернуться домой, она, едва переступив порог, увидела проезжавшего верхом мужа, который из своего имения возвращался домой, так как неожиданные обстоятельства заставили его вернуться в город.

При виде его Ифоромена почувствовала себя самым злосчастным и самым жалким существом, когда-либо рожденным на свет, и поняла, что ее ревность и подлость негодяя слуги, на ее

беду, довели ее до потери той чести, которую она до сих пор столь строго оберегала. Не осмеливаясь вернуться домой, чтобы муж не встретил ее в таком виде, она решила одним ударом отомстить за предательство и спасти себя от позора. Поэтому, вернувшись и снова войдя в комнату, где ей было нанесено такое жестокое и тяжелое оскорбление, она, сделав вид, что снова жаждет близости этого негодяя, стала его обнимать и ласкать. Негодяй решил, что игра ей понравилась, и остался весьма доволен ее возвращением. По древнему обычаю матерей семейства, у нее на поясе, стягивавшем исподнюю одежду, висел нож. Незаметно выхватив его, пока этот подлец, который был в одной рубашке, с ней заигрывал, она изо всех сил всадила нож по самую рукоять ему в грудь. Удар пришелся так близко к сердцу, что от обилия хлынувшей крови негодяй не мог произнести ни слова. Глядя на него, несчастная воскликнула:

— Предатель, ты лишил меня чести, а я лишила тебя жизни, но этого мало, чтобы искупить тяжкое оскорбление, которое ты мне нанес своим гнусным обманом, пользуясь моей доверчивостью и избытком любви моей к мужу. Но, слава богу, ты этим уже не похвастаешься!

С этими словами она, думая, что он мертв, извлекла нож из груди злодея и сказала, обращаясь к ножу:

— Раз ты уже был мстителем за обиду, нанесенную мне этим подлецом, который лежит здесь мертвым, ты и моей кровью отомстишь за оскорбление, нанесенное моему супругу ревностью моей и легковерием.

И с этими словами, твердой рукой направив в свою грудь острие ножа, она его в себя вонзила, чтобы покончить с жизнью. Хотя удар и был тяжелым, однако не настолько (так как она ранила себя в правый бок), чтобы она потеряла голос; падая на пол, она испустила страшный крик. Женщина, в доме которой это произошло, прибежала на шум и на стон, отворила окно и посмотрела, что делается в комнате. Увидев, что все кругом залито кровью, что свояк, ничком свалившийся с кровати, и неизвест-

ная женщина лежат на земле, и не понимая, что все это значит, она подняла дикие вопли. На крик сбежались все соседи, а так как некоторые из них узнали женщину, они дали знать мужу о случившемся. Он поспешно прибыл и, увидев жену при смерти, а также слугу, остолбенел, охваченный и удивлением и отчаянием. Обнимая дорогую супругу, он говорил:

— О жена моя, что случилось? Что довело тебя до такого состояния?

Услышав его голос, Ифоромена подняла к нему томные взоры и слабым голосом промолвила:

— Муж мой, меня до этого довели и чрезмерная моя любовь к тебе, и порожденная ею ревность, и этот негодяй, который здесь лежит и который казался тебе таким верным. Я вижу, что вероломство этого изверга лишило меня чести, той чести, говорю я, которая делала из меня женщину и которую я так прилежно хранила. И чтобы, опозоренной, никогда больше не попадаться тебе на глаза, я хотела отомстить так, как ты видишь, за тяжкое оскорбление, которое он нанес нам обоим. А затем я решила своей кровью смыть позор, которым, как я сознаюсь, я покрыла тебя, но поверь мне, не из любовственной прихоти, меня охватившей, ибо я никогда не обращалась душой к другому мужчине, кроме тебя. Нет, этот предатель нашел путь к осуществлению своего обмана только благодаря той страсти, которая заставляла меня огорчаться всякий раз, как я узнавала, что ты получаешь удовольствие от другой женщины и уходишь от меня, страсти, для которой не было иного счастья, как быть с тобою. А он, воспылав ко мне, привел меня, как ты видишь, сюда, обманув обещанием, что с тобою здесь буду лежать я, вместо другой, которую ты, по его словам, хотел привести в этот дом. И таким способом этот злодей лишил меня чести, потеряв которую я уже не дорожила своей жизнью, ибо мне казалось, что я недостойна называться женщиной и быть связанной с тобой узами брака.

И она рассказала ему все, что было затеяно обманщиком, чтобы довести ее до такого бесчестия.

Все это превыше всякой меры огорчило Публио, и, чтобы убедиться в истинности рассказа жены, он вызвал к себе хозяйку дома и пожелал узнать от нее, как случилось это несчастье в ее доме. И она ему рассказала, как ее бесчестный свояк говорил ей, что есть одна благородная госпожа, которая хочет уличить своего мужа в измене, и как она предоставила ему свой дом, чтобы муж (за которого он хотел себя выдать), согласившись на этот способ, не оскорблял своей жены ради другой женщины, но что теперь она видит, какая невероятная гнусность скрывалась под его обманом, и, горько сожалея, что оказалась его соучастницей, до конца дней своих будет об этом сокрушаться. И, сказав, бедняжка разразилась обильными слезами.

Публио, услышав об этом, взял свою жену на руки и, утешая ее, сказал ей, чтобы она не огорчалась, так как она ему дорога несколько не меньше, чем прежде, и что и он собственной рукой хочет отомстить негодяю, хотя бы полумертвому, и, выхватив меч из ножен, он на него замахнулся. Но Ифоромена воскликнула:

— Остановитесь, супруг мой! Пусть он перед смертью расскажет вам, при помощи какого обмана он меня сюда привел.

В ответ на это Публио с гневным взглядом обратился к злодею, который настолько оправился, что уже сидел с таким видом, словно он не заслуживал не только одной, но многих смертей, и сказал ему:

— Скажи, мерзавец, как было дело и правда ли то, что мне говорила жена.

В то время как Публио добивался от него ответа, явились стражники подеста, так как слух об этом деле уже дошел до властей, и, видя его со шпагой в руке, замахнувшегося на этого негодяя, сказали:

— Спрячьте ваше оружие, благородный муж, так как подеста назначит ему ту смерть, которую он заслужил.

— Не я его убью, — ответил Публио, — потому что такой подлый человек не заслуживает смерти от руки дворянина, но я все-таки хочу, чтобы он рассказал, как обстояло дело с этим обманом.

Изобличенный преступник поведал то же самое, что Публио говорила жена, и когда Ифоромена это услышала, она заключила мужа в тесные объятия и, вся в слезах, сказала ему:

— Муж мой, теперь ты знаешь, что только чрезмерная моя любовь к тебе, а не любострастные помыслы и не желание тебя оскорбить привели меня к тому, что ты видишь. Поэтому, прошу тебя, прости мне мой проступок и поверь, что ни одна жена так не любила своего мужа, как я любила тебя, и попроси господа, чтобы и он простил мне мои прегрешения, как о том прошу его я, раскаявшаяся в каждом моем грехе. И я возношу бесконечную благодарность его всемогуществу за то, что он в этой тяжкой беде оказал мне милость, одарив меня тем, что я доживаю последний день своей жизни в твоих объятиях.

Договорив, она приблизила для поцелуя свои губы к губам мужа, и он ощутил на своих устах ее последнее дыхание.

Ни язык, ни перо не могут передать, каково было горе Публио, ибо он, обливаясь слезами, готов был умереть вместе с ней и, прижимая ее к груди, без конца призывал свою дорогую и без конца осыпал мертвую поцелуями.

Слугу отвели к подеста, и он признал свою вину и был казнен смертью, его достойной.

Публио, горевавший как никто из людей, с почетом похоронил любимую жену, проклиная того нечестивца, который, воспользовавшись доверчивостью Ифоромены, дал ему повод подтвердить ей этой печальной услугой, как велика была любовь, которую он к ней питал.

[Декада четвертая, новелла IV]

ДЖОВАННИ ПАНИГАРОЛА ПРИГОВОРЕН К СМЕРТИ.
ЕГО ЖЕНА ПРОНИКАЕТ В ТЮРЬМУ,
ПЕРЕОДЕВАЕТСЯ В ЕГО ОДЕЖДУ
И ОСТАЕТСЯ В ТЮРЬМЕ, А ОН ОТТУДА ВЫХОДИТ.
ЖЕНУ ПРИГОВАРИВАЮТ К ТОМУ ЖЕ НАКАЗАНИЮ,
ЧТО ПОЛАГАЛОСЬ МУЖУ.
ДЖОВАННИ, УЗНАВ ОБ ЭТОМ,
ПЫТАЕТСЯ СПАСТИ ЖЕНУ.
НАМЕСТНИК ТРЕБУЕТ СМЕРТИ ОБОИХ,
НО, ПО МИЛОСТИ КОРОЛЯ, ОНИ ОБА ОСВОБОЖДЕНЫ

В Милане, знаменитейшем городе Ломбардии, в те времена, когда именем короля Франции¹ им управлял Джованджакопо Тривульци, человек большой премудрости, возвышенной и широкой души и высокой доблести, проявляемой им и в мирное время и в военных делах, — проживал некий Джованни Панигарола, юноша красивый, обходительный и благородный как по многим личным своим качествам, так и по знатному происхождению, но

¹ Имеется в виду король Франциск I (1494—1547), предпринявший ряд завоевательных походов в Италию и долгое время владевший ломбардскими городами.

любитель подраться в гораздо большей степени, чем это приличествовало спокойному и миролюбивому укладу жизни этого города. Он уже не раз попадался в руки к Тривульци за вооруженные стычки с разными людьми. Но так как юноша имел знатную и высокую родню, а в этом добром старике жила итальянская душа, то есть от природы он был склонен скорее прощать, чем наказывать, он и считался с Джованни настолько, что ни разу не пошел дальше горьких упреков и угроз. Однако упреки и угрозы мало способствовали тому, чтобы Джованни отказался от своих свирепых привычек.

У Джованни была молодая жена, урожденная Ламподжани, по природе своей нежная и ласковая, которая испытывала невыносимую муку, видя безрассудную запальчивость своего мужа. А так как с женою он был сама приветливость и сама нежность, Филиппа (так звали молодую женщину) иногда мечтала о том, чтобы он скорее был с другими человечным, а с ней свирепым, чем ласковым с ней и страшным с другими, будучи уверена, что от ссоры с ней ничего дурного с ним не случится, но боясь, что его заносчивость станет для нее в один недобрый день причиной горьких слез. Поэтому она подчас, говорила ему:

— Джованни, на что вы рассчитываете, давая волю рукам своим то с одним, то с другим? Разве вы не видите, какой вы себя подвергаете опасности и какие вы мне доставляете страдания? Знайте, что вы мне делаете так же больно, как если бы вы пронзали мне сердце вашим мечом, ибо постоянный страх за вас не дает мне спокойно наслаждаться жизнью с вами; я вижу, что вы всегда при оружии и подвергаете себя опасности, и боюсь, как бы вы, оскорбив кого-нибудь, не попали в какое-нибудь дело, позорное с точки зрения правосудия. Поэтому прошу вас ради той любви, которую я к вам питаю, и ради той, которую, как я это знаю, вы питаете ко мне, одумайтесь и откажитесь от этого опасного образа жизни, чтобы мы могли счастливо жить вместе и чтобы вы этим заслужили у наших дворян почет и доброе имя, достойные той крови, которая течет в ваших жилах.

Джованни охотно выслушивал жену и, пока был с нею, обещал ей все блага мира, но стоило ему переступить порог — и он тотчас же возвращался к своим прежним привычкам, доказывая, как трудно преодолевать свои природные склонности.

И вот, в то время как он продолжал вести этот образ жизни, случилось, что король вызвал Тривульци во Францию, а для управления Миланом был назначен человек суровый и гневливый превыше всякой меры. Во время его наместничества судьба пожелала, чтобы Джованни повздорил с одним из приближенных этого сурового человека, и после того как он схватился за нож, поединок не прекращался до тех пор, пока его противник не оказался мертвым. Джованни был немедленно задержан, и наместник приказал, чтобы на следующий же день ему отрубили голову. Это причинило Филиппе невероятное горе, и бедняжка, чувствуя, как ее покидает душа, проклинала свою горькую судьбину, называя жестоким не только наместника, но и небо, и звезды, и самое себя, несчастную.

Убитую горем молодую женщину окружали утешавшие ее родители, подруги и соседки, но она не поддавалась никаким уговорам и, ударяя себя в грудь и безудержно рыдая, говорила:

— Ах, дорогие мои, никто из вас не может понять моего горя, не испытав его. Но не дай вам бог его испытать, ибо я знаю, что вы предпочтете смерть такому мучению. Поэтому перестаньте понапрасну утешать меня в моем неутешном страдании, так как я твердо решила скорей умереть, чем когда-либо узнать, что мой муж погиб такой смертью.

Женщины продолжали утешать ее как могли, и видя, что чем больше они стараются облегчить ее страдания, тем больше она убивается, очень боялись, как бы она с собой не покончила, и потому не решались оставить ее одну.

Долго пребывала Филиппа в таком тяжелом состоянии, раздумывая, спасти ли ей мужа или умереть вместе с ним, и наконец сказала:

— Дорогие мои, только один выход может меня немного успо-

коить. Выход этот в том, чтобы вы через посредство ваших мужей добились для меня у жестокого наместника разрешения провести с мужем ту ночь, которая, увы, должна быть последней ночью его жизни. Если это будет мне дозволено, я буду меньше страдать.

Убедившись, что это был единственный путь, способный смягчить горе Филиппы, женщины устроили так, что суровый наместник по просьбе их мужей согласился, чтобы Филиппа провела всю эту ночь наедине с мужем.

Как только Филиппа его увидела, она обняла его и сказала:

— О муж мой, единственная опора моей жизни, до чего вы довели вашим упорством себя и меня? Себя, кому суждено, едва забрезжит свет, сложить свою голову на плахе, и меня, которой суждено увидеть смерть того, кто был опорой моей жизни. Почему вы никогда не хотели склониться к мольбам вашей жены, которая всегда этого страшилась и тысячу раз вас останавливала, предсказывая, что ваша непомерная смелость принесет в конце концов те плоды, которые она и принесла, на жалкую гибель вашей и моей жизни?!

И тут, задыхаясь от горя и рыданий, она упала к ногам несчастного супруга и больше не смогла произнести ни слова. Джованни, хотя и был человеком легкомысленным и очень гордым, не мог удержаться от слез, жалея не себя, а свою дорогую жену, которую его смерть должна была повергнуть в такое отчаяние.

Однако, подняв ее, он ей сказал:

— Филиппа, не могу отрицать, что я болею за тебя до глубины души, видя, какое тяжкое горе тебя постигло по моей вине, но, что касается меня, я предпочитаю умереть за свою храбрость, чем остаться в живых благодаря своей трусости. Какими глазами стал бы я смотреть на людей, если бы допустил, чтобы этот варвар, которого я убил своей рукой, явившись оскорблять меня в моем собственном отечестве, остался безнаказанным? Поэтому не горюй, дорогая жена, осуши свои слезы и утешайся вместе со мной тем, что не грабежи и не подлоги, но доблесть, дарованная мне природой, довела меня до того, что жестокий наместник меня,

невинного, осудил за благородный поступок. Ведь не я вызвал на поединок его приближенного, вызов бросил он, оскорбив меня и обозвав словами, которых ни один человек, имеющий жену, не может перенести без величайшего для себя позора. И если тебя ничто не может успокоить, успокойся хотя бы для того, чтобы, мне на радость, показать себя той послушной женой, какой я тебя всегда знал.

И с этими словами он, несмотря ни на что, продолжал целовать дорогую супругу, которая, все еще обливаясь слезами, сказала ему:

— Джованни, никогда мне не жить без вас, и пусть злая наша судьба назначит вам умереть, — я буду вам спутницей на том свете, как была ею на этом. Однако, хотя жестокое горе сначала и заставило меня поплакать, вместо того чтобы подать вам совет в этой беде, все-таки знайте, что я пришла сюда не для слез и стенаний о нашем общем несчастье, но чтобы спасти вас от смерти.

Услыхав такие слова, Джованни сказал:

— А как это сделать?

— Вам, — продолжала она, — восемнадцать лет, и у вас нет никаких признаков бороды. Мне столько же лет, и ни вас, ни меня новые тюремщики не знают, ибо они, как и сам наместник, чужеземцы. Поэтому, Джованни, я хочу, чтобы мы обменялись одеждой; я останусь здесь, в вашем платье, а вы, одетый в мое, выйдете отсюда вместо меня. Я женщина и ни в чем не повинна, и поэтому нечего опасаться за мою жизнь. Таким образом вы будете спасены, а я буду удовлетворена.

Молодой человек слушал жену, затаив дыхание, но как только она договорила, сказал:

— Филиппа, не трудись склонять меня к тому, чего я боюсь пуще смерти. Неужели ты хочешь, чтобы я бежал отсюда еще более позорно, чем я должен умереть? Прощу тебя! Предпочти увидеть меня скорее мертвым, чем живым, но заслуживающим упрек, что я таким способом избежал смерти. Больше не говори мне об этом и знай раз и навсегда, что ты бросаешь на ветер

слова, хотя и внушенные твоей большою любовью, но которые моя честь не позволяет мне от тебя слышать. Оставь меня в моем положении и приготовься стойко и мужественно перенести мою судьбу.

Зарьдав, Филиппа ему отвечала:

— Увы, Джованни, что вы за человек, что даже в объятиях смерти не хотите изменить своего нрава? Но, повторяю вам, если вы не передумаете, то удар, который убьет вас, убьет и меня и вы будете моим убийцей, еще более жестоким ко мне, которая так вас любит, чем жесток к вам этот чужой и несправедливый человек, ибо он хочет убить вас, потому что он вас ненавидит, а вы убьете меня, любящую вас больше самой себя. Поэтому, если в вас еще не потухла великая и хорошо мне известная любовь, прошу вас, примите мое предложение, как самое надежное средство для вашего спасения и для сохранения моей жизни. Если бы вам, Джованни, пришлось умирать с оружием в руках и проявляя свою храбрость, а не от руки палача, как преступнику, вам смерть была бы нипочем, и я (хотя и тяжело мне было бы без вас) могла бы спокойно ее перенести. Но мысль о том — о я несчастная! — что такая отвага, такое мужество, такая доблесть так позорно гибнут от подлой руки, когда вас, как скота, ведут на убой... от одной этой мысли разрывается сердце! Джованни, я помню, как отец мой, который, больше чем кто-либо иной в нашем городе, был человеком мудрым и храбрым, мне говорил, что сильный человек никогда не должен стремиться избежать смерти, если ему представляется случай проявить свое мужество и свою доблесть и этим заслужить похвалу, принеся пользу своей родине и людям, но что для него тяжелой и трудной должна быть такая смерть, в которой нет места ни для мужественной отваги, ни для доблестного подвига. А какое же, Джованни, может здесь быть место для вашей доблести, стойкости, для вашего мужества, когда вас связанного (мне стыдно это произнести) ведут под топор? Поэтому, дорогой супруг мой, прошу вас, располагайте вашей жизнью по собственному усмотрению — берегите,

а если нужно, теряйте ее, но только ради того, что и после смерти сохранит вам жизнь. Примите, прошу вас, во внимание и то, что, если угроза предстоящей вам позорной смерти будет приведена в исполнение так, как приказал этот варвар, она осквернит все то почетное, что вы когда-либо совершили за всю вашу жизнь, и что, наоборот, всякий вас похвалит, если, в то время как этот жестокий человек уготовил вам столь жалкий и бесчестный конец, вы умом своим победите его несправедливость и оставите его посрамленным, как он того заслуживает.

Много слов было еще сказано, и Филиппа мольбами, слезами и воздыханиями так смягчила его сердце и настолько поколебала его намерение, что он возненавидел такую смерть и решил сохранить свою жизнь для лучшего и более достойного назначения, и, оставив вместо себя жену, переодетую мужчиной, он на рассвете в женском платье быстрыми шагами вышел из тюрьмы.

Стражники вошли в тюрьму для выполнения приказа, полученного ими от своего начальника, и, приняв женщину за Джованни, стали связывать ей руки за спиной, как полагалось смертникам. Но Филиппа сказала им:

— Разве так унижительно обращаются с дворянкой?

Тюремщики по голосу узнали, что заключенный не Джованни, а его жена, и доложили об этом наместнику, который тотчас же приказал ее привести. Узнав обо всем и считая себя посрамленным, он рассвирепел пуще прежнего и, обратившись к Филиппе, сказал:

— Ты хотела подарить своему мужу жизнь, а он в награду оставил тебе смерть.

И тут, весь во власти гнева и ярости, он приказал страже тотчас же отвести ее на место казни и вместо Джованни отрубить голову ей, и стражники приступили к выполнению его приказа.

Однако молва об этом событии распространилась по всему Милану, и на площадь уже сбежалась огромная толпа женщин и мужчин. Поэтому, как только Филиппа показалась на площади, женщины, равно как и мужчины, стали оплакивать несчастье столь

верной и любящей жены, и хотя мужчины и желали, чтобы их женам выпала лучшая судьба, чем судьба Филиппы, они тем не менее мечтали, чтобы те относились к своим мужьям так же, как Филиппа относилась к Джованни. Нельзя было без величайшего умиления смотреть на благородных женщин, обнимавших Филиппу и со слезами моливших небо сжалиться над этой блаженной душой. Когда кончились объятия и сетования, стражу повела на смерть несчастную женщину, которая, призывав по имени своего Джованни, говорила:

— О муж мой, да будет эта смерть для меня сладкой и легкой, ибо она спасает твою жизнь.

Между тем Джованни, узнав, что угрожает Филиппе за попытку его спасти, вспыхив, как обычно, и движимый своей запальчивостью, хотел было уже схватиться за меч и проникнуть в строй того отребья, которое вело его жену на смерть, с тем чтобы вырвать ее из этих рук. Однако в это мгновение разум возобладал в нем настолько, что, опасаясь, как бы его смелость еще больше не повредила Филиппе (о себе он уже не думал), он сдержал свою ярость, безоружный вышел на площадь и, дойдя до того места, где была его жена, бросился ей на шею, воскликнув:

— Ах, супруга моя, упаси господи, чтобы ты погибла ради меня!

И, обращаясь к страже, сказал:

— Отпустите эту женщину и вяжите меня, ибо виновен я.

И вот, окруженные плачущей толпой, муж и жена вступили в спор, кому из них умереть за другого.

Вести об этом дошли до наместника, который, упорствуя в своем варварском ожесточении и ничего не желая слышать, приказал казнить их обоих: Джованни — за совершенное им убийство, Филиппу — за обман, говоря, что она оскорбила правосудие.

Но народ не мог потерпеть такой жестокости, и часть мужчин удержала стражников, а другая отправилась к наместнику, у которого от ярости горели глаза. Своими хлопотами и уговорами они добились отсрочки казни до той поры, пока король, ознакомившись с делом, не вынесет своего решения.

А это был король Франциск, король, который и поныне отличается царским великодушием и кротким, ласковым нравом. Итак, узнав о благородном поступке Филиппы, совершенном ею для спасения мужа, и о храбрости Джованни, который предпочел жизнь жены своей собственной жизни, и движимый великодушием, в котором он превосходит всех других властителей мира сего, он не только признал их достойными жизни, но весьма сокрушался о том, что не в силах даровать им бессмертие. Узнав также, что Джованни непреднамеренно и без всякого злого умысла убил противника, который своими оскорблениями заставил его взяться за оружие, он произнес:

— Я хочу, чтобы любовь и верность этих двух прекрасных душ победила строгость правосудия и чтобы Филиппа сохранила свою жизнь для мужа, а он для нее.

И приказал освободить обоих.

Насколько это было не по душе наместнику, которому гнев затуманивал очи рассудка, настолько король сделался дорогим всему миланскому населению, и все воздавали бесконечную хвалу его великодушию.

Но из всех наибольшую благодарность его величеству приносили Джованни и Филиппа и всегда почитали себя во всем ему обязанными. Джованни, уступив настояниям дорогой супруги, изменил прежний свой нрав, стал миролюбивым и спокойным, а потому и прожил с ней долгую и счастливую жизнь.

[Декада пятая, новелла IV]

У ЛИВИИ ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН.
НЕКИЙ ЮНОША СЛУЧАЙНО ЕГО УБИВАЕТ
И, СКРЫВАЯСЬ ОТ СТРАЖНИКОВ ПОДЕСТА,
ПРЯЧЕТСЯ В ДОМЕ МАТЕРИ УБИТОГО.
ОНА ДАЕТ ЕМУ СЛОВО ЕГО СПАСТИ.
СТРАЖНИКИ ХВАТАЮТ ЮНОШУ,
И ПОДЕСТА ПРИГОВАРИВАЕТ ЕГО К СМЕРТИ.
ОНА ЖЕ ЕГО ВЫЗВОЛЯЕТ
И УСЫНОВЛЯЕТ ВМЕСТО УБИТОГО СЫНА

В городе Фонди, вотчине синьоров Колонна, некогда проживала благородная вдова по имени Ливия. У нее был единственный сын, очень милый и благовоспитанный, которого мать любила больше всего на свете. Влюбившись в одну из тех женщин, что телом своим бесчестно ублажают мужчин, он повздорил с другим юношей из-за нее, которая, по обычаю себе подобных, не любила ни того, ни другого и действовала лишь в расчете на то, чтобы с наибольшей для себя выгодой содрать шкуру с любого из них. Волею судеб оба они, схватившись за ножи, стали драться перед дверью распутницы, и, как назло, сын вдовы был ранен ниже левого соска так глубоко, что острие ножа проникло в самое сердце, и он упал мертвый. Другой, его убивший, видя, что стража

подеста готова его схватить, стал удирать, полагаясь на свое умение быстро бегать. Обнаружив отворенную дверь в доме матери убитого юноши, он, весь дрожа от страха, подошел к Ливии и сказал ей:

— Сударыня, прошу вас только об одном: уберегите меня от рук стражников, которые за мной гонятся, чтобы отправить меня на смерть.

Вдова, еще ничего не слышавшая о смерти сына, движимая жалостью к бедняге и не допытываясь, из-за чего грозит ему смерть, сказала:

— Будь уверен, сынок, что в моем доме ты будешь цел и найдешь такую же защиту, как если бы ты был моим единственным сыном.

И с этими словами она спрятала юношу в месте, казавшемся ей безопасным.

Но вот не успела она еще прийти в себя от страха, что стража войдет к ней в дом в поисках юноши, как ей принесли мертвого сына, которого уже оплакивала вся округа. Несчастливая мать, увидев мертвого сына, стала взывать к небу от непомерного горя; всплескивая руками и царапая себе лицо, она звала сына по имени, приговаривая:

— О Шипионе (ибо так его звали), каким ты недавно от меня ушел, а сейчас каким мне тебя принесли! Чья жестокая рука так безжалостно у меня тебя отняла? В какой недобрый час, сын мой, ушел ты из дому и оставил свою бедную мать?! Увы, я словно предчувствовала эту страшную беду, проводила тебя до дверей, умоляла не уходить! Увы, если бы я пошла с тобой, я защитила бы тебя от безжалостной руки, которая у меня похитила тебя! О, если бы ты послушал свою мать, ты был бы жив, и я не была бы самой несчастной женщиной на свете! Ты, сын мой, ты унес с собою все мои радости и низвергнул меня в пропасть самого жестокого отчаяния, которое только может перенести человеческая душа на этой земле! На что еще мне надеяться? Кто будет опорой моей старости после того, как я столь жестоко тебя

лишилась? Ох, почему ты не дал мне в руки того злодея, который тебя убил, чтобы я его смертью могла отомстить за твою смерть так, как подобало бы несчастной матери отомстить за смерть любимейшего сына?

Вытирая распущенными волосами кровь на ране и оmyвая ее жалобными слезами, она оглашала такими и другими подобными жалобами и отчаянными воплями не только свой дом, но и всю округу и молила только об одном: чтобы убийца был найден и чтобы палач растерзал его на клочки.

Стражники же проследили, что убийца Шипионе скрылся в доме матери убитого, и, пока она обнимала мертвого сына, они явились и сказали ей:

— Мы узнали, что убийца спрятан в твоём доме. Покажи нам, где, и мы возьмем его, чтобы он получил заслуженное наказание за совершенное им преступление и чтобы порадовать мать отмищением за смерть её сына.

Сраженная горем вдова не отвечала им ни слова; хлопоча вокруг убитого сына, она не обратила на их слова никакого внимания. Они же, войдя в дом, после долгих поисков нашли убийцу, который, расслышав шум приближавшегося обыска, уже весь трепетал, охваченный смертельным ужасом. Взяв его и связав ему руки, они сказали:

— Негодяй, ты по воле божественного правосудия как раз попал в дом той матери, у которой ты убил дорогого сына.

И с этими словами они привели его связанного к Ливии и сказали ей:

— Вот, мадонна, его убийца. Ты увидишь, что он завтра же получит по заслугам.

Ливия, узнав того самого юношу, которого она взяла под свою защиту, была охвачена в одно и то же время и пылающим гневом и величайшей жалостью: гнев в ней возбуждал вид мертвого сына и жажда во что бы то ни стало увидеть, как его убийцу поведут на смерть; жалость — мысль о несчастье, постигшем юношу, который искал убежища в её доме и всеми средствами

пытался себя спасти; а кроме того, данное ему слово, что она будет оберегать его как родного сына, возбуждало в ней и сострадание к этому юноше и желание охранить его от беды. А он, чувствуя, что дошел до того предела, когда смерть кажется неизбежной, едва только увидел Ливию, бросился перед ней на колени и со слезами на глазах сказал:

— Мадонна, я должен был бы для своего спасения покинуть эту область, а если уж, паче чаяния, это мне не удалось бы, я мог в этом городе безопасно скрываться в тысяче других мест. Но раз моя злая судьба того захотела и я попал в дом к вам, которая не только не должна была спасать меня, как убийцу сына, но, естественно, должна пожелать мне все то зло, какое только можно пожелать злейшему врагу, я, находясь в этой крайности, прошу вас оказать мне хотя бы одну милость: простите мне мою ошибку — не для того, чтобы я за совершенное убийство не понес того наказания, которого, как я вижу, вы для меня разумно хотите и которое я признаю столь же справедливым, сколь по праву меня ведут на него те, кто меня задержали, но для того, чтобы я по крайней мере унес с собой на тот свет удовлетворение, зная, что вы даровали прощение моей ошибке, которую я не без основания называю ошибкой, ибо не по моей воле, а случайно приключилась смерть этого юноши, труп которого вы ныне оплакиваете. Он мог так же убить меня, как судьба захотела, чтобы убил его я, и это меня бесконечно огорчает не столько из-за смерти, которая меня ждет, сколько из-за той боли, которую, как я вижу, я причинил вам, с такой любовью предложившей мне спасение. И если бы я своей смертью мог вернуть к жизни вашего сына, я с величайшей радостью принял бы ее в вашем присутствии — не для того, чтобы спасти себя от правосудия, в руках которого я нынче нахожусь, но чтобы удовлетворить вас по мере моих сил; или же, если бы я мог победить в себе голос крови и самой природы и превратиться в вашего сына или уговорить вас сделаться моей матерью, я был бы для вас столь любящим и послушным сыном, как если бы вы меня породили. Но так как я

этого сделать не могу и вижу, что бесполезно просить вас считать меня вашим сыном, когда перед вашими глазами тело мертвого сына, вами рожденного, и когда вы вынуждены по вине несчастного случая, со мной приключившегося, видеть во мне не сына, а врага, — я возвращаюсь к своему первому рассуждению и снова, для облегчения моих страданий, прошу у вас прощения и умоляю, не ради меня, а хотя бы ради любви, которую вы питали к вашему сыну, и ради того обещания, которое вы мне дали, когда с такой любовью приняли меня в свой дом, не откажите мне в этом прощении; если я получу его благодаря вашей доброте, смерть будет для меня менее тяжела, чем сейчас, а она уже стоит передо мной наготове.

Слова бедняги разжалобили даже стражников, обычно очень жестоких, не говоря о мягком сердце горевавшей матери, которая, хотя и держала в объятиях убитого сына, все же, обратившись к юноше, так ему сказала:

— Я не думаю, что бывает или может быть страдание, равное тому, которое я испытала и испытываю вследствие смерти сына, жестоко тобою пронзенного, лежащего передо мною и бывшего для меня самым лучшим и самым послушным сыном, когда-либо рожденным матерью. И если бы ты только мог себе представить великую потерю, которую я понесла по твоей вине, и то невероятное горе, которым ты меня наполнил, ты не только не стал бы склонять меня к прощению, но предпочел бы быть растерзанным так, как того требует претерпеваемая мною утрата. Но коль скоро господу угодно было, чтобы ты, который должен был избегать моего дома, как дома злейшего врага, пришел, дабы в нем укрыться, и чтобы я, словно твоя родная мать, приняла тебя и обнадежила своим честным словом, я хочу верить, что это случилось не иначе как по тайному промыслу бессмертных богов, пожелавших испытать мою душу и убедиться, сумею ли я среди прочих женщин, по природе своей жаждущих мести, простить тебе так же, как другие сумели бы тебе отомстить. Поэтому, так как случайно произошло то, что помимо твоей воли лишило меня

сына, я хочу, чтобы великодушие во мне превозмогло мстительность, неотступнейшим образом подстрекающую меня добиваться твоей смерти, и хочу ныне победить в себе и голос природы и законы крови, которые кажутся тебе непобедимыми. И если ты просишь у меня прощения, дабы унести с собой эту удовлетворенность в иную жизнь, я благосклонно тебе его даю, чтобы ты в этой жизни наслаждался моим великодушием. И я не только охотно прощаю тебе ошибку, необдуманно тобою совершенную, но, так как ты согласен быть моим сыном и предлагаешь мне себя в качестве сына, я тебя таковым принимаю, и ты будешь мне всегда дорог, не меньше чем был бы тот, который был рожден моим чревом и который хотя и умер, но стал твоим братом. За тобой остается оценить, сколько ты от меня получил, и, подобно моему другому сыну, послушному и любящему, сделаться таким же и отныне почитать меня своей матерью так же, как я всегда буду почитать тебя моим сыном. Так мы вместе заживем на радость друг другу, — с этими словами она обняла юношу как своего сына.

Этот благороднейший поступок умилил и поразили всех окружающих. Однако стражники (хотя эти отбросы человечества тоже дивились такому благородству) настаивали на том, чтобы отвести узника к подеста, и ничуть не помогли слова вдовы, говорившей им, что потерпевшая она, что она простила убийцу и что случившееся никого, кроме нее, не касается. Итак, они повели юношу к подеста, а он продолжал взывать:

— Матушка, раз вы взяли меня в сыновья, защитите меня, как мать!

Тронутая этими словами, вдова покрыла мертвого сына черным платком и, последовав за несчастным во дворец сказала подеста:

— Сударь, вам уже не к чему проявлять свою власть над этим узником, ибо я, потерявшая сына, простила тому, кто его убил, и усыновила его. И я так же горячо его люблю, как любила другого, рожденного мною. Поэтому я прошу вас приостановить разбирательство его дела.

Подеста, который по своей природе был человек в высшей степени непреклонный и гораздо более считавшийся со строгостью законов, чем с милосердием, отвечал ей:

— Ливия, если вы простили убийце и его усыновили, вы поступили хорошо и дали ясное доказательство вашего великодушия, но от этого закон ему отнюдь еще не простил, и я не могу рассматривать его иначе как убийцу и должен предать его смерти, блюдя правосудие, для охранения которого я поставлен на занимаемое мною место.

И с этими словами он приказал отвести юношу в тюрьму и отрубить ему голову на следующий день, как это было предписано законом.

На это вдова воскликнула:

— Увы, господин мой, вы не допустите, чтобы ваша непреклонная справедливость совершила надо мной такую несправедливость, что я окажусь вдвойне несчастной. И если непреднамеренная случайность заставила меня оплакивать смерть одного сына, подаренного мне природой, вы не допустите, чтобы ваша суровость преднамеренно заставила меня оплакивать другого, которого я по собственному выбору назвала своим, ибо, если бы вы это сделали, я больше имела бы оснований жаловаться на вас, чем на того, кто убил моего первого сына.

Однако эти слова нисколько не поколебали решения подеста; наоборот, он продолжал упорно придерживаться строжайших статей закона и предписаний, полученных им от своих синьоров.

В то время в Фонди находился синьор Просперо Колонна, который обладал душой не менее благородной и отзывчивой, чем великодушной и отважной. Узнав об этом, Ливия отправилась к нему и стала горячо молить:

— О господин мой, да осчастливит меня ваше милосердие, ибо счастливое имя Просперо¹, которым вас нарекли, поселяет во мне твердую в этом уверенность. И так как милостью божьей вам

¹ *Prospero* по-итальянски значит «счастливый».

дана власть над законами, — не говоря о ваших собственных распоряжениях, — и право смягчать их суровость, согласуя то одни из них, то другие с неписаными законами человеческой совести, я умоляю вас о пощаде для несчастного моего сына, которого ваш подеста приговорил к отсечению головы. Ни мои мольбы, ни приведенные мною доводы не могли склонить его к милосердию, и я вижу, что мне придется оплакивать смерть сына, если ваше благорасположение хоть сколько-нибудь не облегчит моих мучений.

И она рассказала этому благородному синьору все, что случилось.

Синьор бесконечно подивился тому, насколько сильным оказалось благородство женской души, если мать, забыв о смерти сына, усыновила его убийцу. Поэтому, обладая душою поистине римской и видя возвышенность ее щедрого сердца, он сказал ей:

— Пусть, о женщина, твое благородство победит суровую власть законов и силу наших указов, и так как ты поступила столь добродетельно и столь возвышенно, я дарю тебе сына. Которого ты себе избрала, и, хотя подеста осудил его по праву, я хочу великодушно сохранить его для тебя.

И с этими словами он повелел привести к себе юношу и сказал ему:

— Твое преступление заслуживало бы, чтобы, как судил подеста, у тебя отняли жизнь, однако великодушный поступок, совершенный по отношению к тебе этой благородной женщиной при таких обстоятельствах, которые давали ей повод желать твоей смерти, заслуживает того, чтобы я подарил ей тебя живого. И я охотно это делаю, ей на радость, чтобы она могла насладиться плодами благородства своего сердца. А ты пойми, скольким ты ей обязан, и всегда будь к ней таким, как того заслуживает ее удивительное благородство, которое убедило меня в том, что она настолько выше своего пола, насколько мало нанесенный ей тобою ущерб заслуживает благородного обхождения с ее стороны.

Юноша воздал синьору бесконечную благодарность за дарованную ему жизнь и обещал ему, что сумеет оправдать благород-

ство матери и его великодушие так, чтобы и она и он могли навеки оценить его благородное сердце. И так, отпущенные великодушным синьором, они отправились домой и приготовили для убитого почетные и величественные похороны. А затем Ливия и юноша стали жить вместе в полном согласии.

И когда много лет спустя Ливия достигла предела своей жизни, она, прежде чем отдать богу душу, позвала к себе юношу, названного ею по имени убитого сына, и, взяв его за руку, сказала:

— Шипионе, пришел конец моего жизненного пути, и я вижу приближение смерти, которая сама по себе мне не страшна как нечто неизбежное для всего человеческого рода. Однако она все же мне страшна потому, что, расставаясь с жизнью, я расстаюсь с тобою, с кем я хотела бы провести гораздо больше времени, чем мне это разрешает судьба. Но раз того требует природная необходимость, ничего тут не поделаешь, и я хочу, Шипионе, остаться для тебя и после смерти такой же заботливой матерью, какой ты меня знал при жизни, поэтому-то я делаю тебя единственным наследником всего моего имущества. И прошу тебя ради той услуги, которую я тебе оказала, когда усыновила тебя под именем моего Шипионе, и ради того благоволения, которое мы друг к другу питали за время нашей совместной жизни, да сохранится в тебе навсегда живая память обо мне, ибо, если я, хотя и расставаясь с тобою, унесу с собой эту надежду, мне будет казаться, что я все еще живу вместе с тобой.

Шипионе при этих словах не мог удержаться от слез и сказал ей:

— Не менее чем вам, дражайшая матушка, горестно мне, что смерть навеки разлучит вас со мной, и если я каким-либо способом мог бы сделать так, чтобы этого не случилось, я сделал бы это от всего сердца, ибо, если бы вы остались жить, я был бы счастливее всех на свете точно так же, как теперь я несчастнее всех, поскольку не могу этого сделать. Но, хотя для нас и наступает роковой час разлуки, она никогда не помешает тому, чтобы моя душа соединилась на небесах с вашей святой душой, ибо я всегда

буду видеть вас в мыслях моих, подобно тому как вы видите сейчас меня. И поэтому не сомневайтесь, что память о вас останется в моей душе, насколько хватит моей жизни, и я хотел бы, чтобы жизни этой не было конца и чтобы во мне вечно жила память о вашем имени.

— Думаю, что так и будет, — добавила Ливия и, заставив его протянуть правую руку, она ее пожала в знак их взаимной верности. А затем, притянув его к себе, она с нежным поцелуем сказала ему последнее напутствие, прошептав:

— Да угодно будет, сын мой, благодати господней, чтобы ты и все твои дела так процветали, как я о том молю от всего своего сердца.

И с этими словами она завершила свой жизненный путь, повергнув юношу в горе, больше которого трудно было бы себе представить. А он, похоронив ее с величайшим почетом в гробнице из белоснежного мрамора, высек на ней стихи, пространно изъяснявшие и благородство этой добродетельной женщины и горе, которое ему причинила ее смерть.

[Декада шестая, новелла VI]

**ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ ОДНИМ ТОЛЬКО СЛОВОМ,
КАЗАВШИМСЯ ПОХВАЛОЙ,
ИНОСКАЗАТЕЛЬНО ОСУДИЛ
ЧУЖУЮ ГЛУПОСТЬ И ЛЖИВОСТЬ**

Так вот, Лоренцо, человек высокого ума, как о том говорилось в предыдущих наших беседах, редко встречал людей, которых можно было бы по заслугам назвать мудрыми или разумными. А так как ему казалось слишком обидным называть глупцом или чем-либо в этом роде человека, который этого заслуживал по своему недомыслию, он употреблял выражение, означавшее одно, но называвшее другое, а именно: таких людей он величал жемчужинами, а это означало не что иное, как то, что он считал их взбалмошными и легковесными, И вот когда однажды один из его друзей спросил его, почему он выбрал столь ценный предмет, как жемчуг, для обозначения такого ничтожества, как человеческая глупость, он ему ответил:

— Разве вы не видите, что, если рассматривать жемчужину не с точки зрения ее цены, а с точки зрения ее качеств, то она обладает всеми теми данными, которые свойственны простакам? Ведь этих обычно называют круглыми, дугыми и легковесными, а такие качества гораздо больше свойственны жемчужине, чем любой

другой драгоценности. Действительно, что касается количества, то чем она легче, тем и благороднее, а что касается качества, чем она круглее, тем и красивее, а без отверстия она никогда не находит себе применения. Вот почему, желая отметить в том или ином человеке все признаки, присущие глупости, я не нахожу ничего более подходящего и менее обидного, как назвать его жемчужиной, перенося, в обратном смысле, достоинства этой драгоценности на людскую глупость.

Это очень понравилось его собеседнику, и в то время как другие в обычной речи пользуются словом жемчужина, чтобы кого-нибудь похвалить; он, следуя примеру этого великого человека, отныне всегда пользовался этим словом и, обращаясь к людям недалеким, говорил им: «Вы просто жемчужина!»

Равным образом этот Лоренцо Великолепный, достойнейший дворянин, имел обыкновение так заклеить чужую ложь, что лжец на это не обижался. А был в те времена один человек, который принимал участие в общественных советах и общественных спорах и который никогда не говорил правды иначе как по ошибке, настолько он привык лгать, следуя дурной приобретенной им привычке. И вот всякий раз, как он в числе других, выдвигавших на совете те или иные предложения, высказывал свое мнение, Лоренцо Великолепный, хотя и придерживался обратного, все же говорил:

— Мы должны во что бы то ни стало следовать тому, что он нам советует, ибо он преисполнен истины.

Лжец истолковывал эти слова в свою пользу, словно ими подтверждалось его мнение, но видя, что в совете всегда принимается обратное тому, что он предлагал, в конце концов отправился в дом к Лоренцо Великолепному и сказал ему:

— Удивительное это дело, о Великолепный! Вы всегда одобряете мои выступления на совете, говоря, что мне нужно верить, так как я полон истины, а между тем, что бы я ни сказал, мнение мое никогда в совете не принимается. Я охотно услышал бы от вас, какова тому причина.

Великолепный, решив, что настало время уличить его в его пороке, раз они встретились с глазу на глаз, так ему сказал:

— Добрый человек, мать-природа создает всех людей для истины и потому вкладывает в их душу ее семена с тем, чтобы они в должное время и в должном месте приносили плоды. Я полагаю, что тебе не менее, чем другим, она вложила в душу эти столь почтенные семена, чтобы ты взращивал их, как это делают порядочные люди, и получал плоды, достойные посева. Вот почему я думаю, и так вместе со мной думают и другие, что и ты полон истины, хотя ты не произносишь ничего, кроме лжи, и из тебя никогда, разве что по ошибке, не выходит и слова правды. Поэтому не удивляйся, если другие господа понимают из моих слов то, чего ты, по дурной своей привычке, не понимаешь. И если ты хочешь, чтобы с твоим мнением считались, не замыкай в себе истины так, чтобы она никогда не появлялась наружу, как ты это делал до сих пор.

При словах Лоренцо тот покраснел и впредь так за собой следил, что сделался правдивым человеком, не хуже всякого другого во Флоренции.

[Декада седьмая, новелла III]

**МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ ДЕЛИКАТНО
НАКАЗЫВАЕТ ОДНОГО ИЗ СВОИХ УЧЕНИКОВ,
КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ЭТОГО ИЗ НАГЛЕЦА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СКРОМНОГО ЧЕЛОВЕКА
И ИЗ НЕВЕЖДЫ — В ЧЕЛОВЕКА ЗНАЮЩЕГО**

Микеланджело Буонарроти, который ваяет и пишет картины для вечности, не торопится, создавая ту или иную из своих фигур, но считает, что он сделал и закончил ее достаточно быстро, когда она предстанет перед взорами знатока такой, какой должна выходить из рук изощренного, превосходного мастера. И он обычно говорит — и, как мне кажется, весьма разумно, — что поспешность мало приносит пользы в каком бы то ни было деле, если не считать умения пользоваться случаем, который представляется нам на какое-то мгновение и в то же мгновение ускользает от того, кто его не распознал. Но в искусстве такая поспешность лишена смысла и потому не может быть названа иначе, как слепой, ибо искусство, которое есть подражание природе, не должно, если оно хочет заслужить похвалу за свои творения, сходиться с того пути, по которому, как мы видим, следует природа в порождении живых существ. А именно, чем большая продолжительность жизни им положена, тем больше времени тратит она на их созидание и

постепенно формирует их с величайшей заботливостью, не выпуская на свет прежде, чем не доведет их до совершенства, необходимого для их рождения. И если, паче чаяния, по странной случайности, они появятся на свет раньше положенного им срока, мы видим, что они рождаются несовершенными и слабыми, а это может служить для нас ясным доказательством того, что для совершенства всех вещей, будь они созданиями искусства или природы, необходимы разум, старание и время.

И вот, положив себе это за правило, Буонарроти, который, как мы говорили, пользуясь резцом или кистью, создает вечные творения искусства, выпускает из своих рук ту или иную свою вещь не раньше, чем с великим старанием и заботливостью в течение долгого времени доведет ее до совершенства, требуемого высшим мастерством, а потому всегда и стяжает себе за свои труды необычайную хвалу.

Этот замечательный человек имел ученика, грека по имени Аладзон¹, которого он воспитал с детских лет и которого (хотя тот и попал к нему в руки из простонародья, совсем неотесанным) любил не меньше, чем родного сына, всеми средствами стараясь сделать из него, в меру его дарования, стоящего живописца. И все, что ни делал Буонарроти, он показывал ему, чтобы в юноше, познавшем совершенство созданных мастером творений, пробудилось желание с ним сравняться или даже превзойти его, насколько это было в его силах.

Однако случилось так, что не успел ученик научиться проводить и десяток линий, как он уже стал воображать себя выше своего учителя и показывать ему любую свою мазню не для того, чтобы тот его поправил, но для того чтобы он его похвалил. Учитель же, видя бесчисленные ошибки, ласково его журил, говоря ему:

— Ты слишком рано хочешь сделаться мастером. Разве ты не видишь, что тебе еще многому надо научиться, прежде чем ты

¹ Хвастун (греч.).

овладеешь знанием? Ведь если ты не добьешься лучшего по сравнению с тем, что ты делал до сих пор, ты всегда останешься в числе ничтожных живописцев и никогда не приобретешь той славы, которой — как я того хочу — мог бы достигнуть, получив признание в качестве моего ученика. И поистине удивительно, насколько самомнение ослепляет юношество и насколько оно вредит тем, кто допускает, чтобы оно затуманило им взоры!

Ученик, который должен был бы всячески благодарить мастера за его ласковые и отеческие назидания, не только этого не делал, но вообразил себе, что мастер говорит так, побуждаемый завистью и опасаясь, как бы он его не превзошел. Поэтому глупец, полагая, что он если и не опередил, то во всяком случае догнал своего учителя, выставлял для всеобщего обозрения то одну, то другую свою вещь, в которых, многое заимствуя у Буонарроти и приписывая себе, он перемешивал совершенство мастера с собственным несовершенством и каждая из которых была полна бесчисленных ошибок, так как он не умел должным образом воспользоваться тем, что брал у своего учителя.

Все это немало огорчало Буонарроти, так как, с одной стороны, он считал это делом своей чести, поскольку речь шла о его ученике, а с другой — ему горько было видеть, что ученик, которого он так любил, настолько далек от истинного понимания, что не сознает собственного невежества, и, будучи еще младенцем в этом искусстве, но разыгрывая в нем старца, убеленного сединами, обрекает себя на то, что и в старости будет оставаться ребенком.

Между тем Буонарроти получил от одного знатного лица заказ на портрет с натуры, который должен был изображать жену заказчика, отличавшуюся не только телесной, но и душевной красотой. Принимая во внимание достоинства этой женщины и все трудности, которые он должен был преодолеть в таком произведении, чтобы средствами своего искусства сравниться с той красотой, которой природа щедро наделила эту даму, Буонарроти писал портрет не так быстро, как это хотелось его модели. Аладзон, который об этом узнал и жаждал вступить в соревнование с

мастером, возомнив, что одержит победу, отправился к даме и сказал ей:

— Синьора, я знаю, что Буонарроти взялся за ваш портрет, но вам грозит опасность постареть или умереть, прежде чем он его закончит, — столько он на него потратит времени; да и один бог еще знает, что получится, когда он его закончит. Если вам будет угодно, чтобы я написал ваш портрет, вы его получите в самом законченном виде через несколько дней.

Дама, более скупая, чем рассудительная, и уже обижавшаяся на Буонарроти, словно, он своей медлительностью хотел ее замучить или получить от этого большую выгоду, не только обрадовалась, что Аладзон берется за это дело, но и поблагодарила его за щедрое и любезное предложение. Итак, взявшись за кисть, ученик в короткое время закончил портрет и понес его даме. Она же, удовольствовавшись только сходством, а не совершенством, которое ей было неизвестно и недоступно, осталась очень довольна и решила вызвать Буонарроти, чтобы он увидел, как быстро другой справился с тем, чего он, быть может, еще и не начинал. Но ученик на это не согласился, так как он во что бы то ни стало желал состязаться со своим учителем, и потому заявил ей:

— Я хочу, синьора, чтобы мы подождали, пока и он принесет свое произведение. А когда он нам его покажет, пусть он не только поймет, что другие тоже знают не меньше, чем он воображает, но и перестанет мучить людей своей бесконечной медлительностью, которую он применяет лишь для того, чтобы показать, какие он совершает чудеса, а вовсе не потому, что нельзя вовремя выполнить все, что полагается, применяя лучший способ.

Прошел почти целый год, прежде чем Буонарроти принес портрет своей заказчице. Настал наконец день, когда мастер решил, что он закончил свое произведение и что потому оно заслуживает того, чтобы его увидели, и он принес даме портрет, правда закрыв его. Услыхав об этом, Аладзон попросил ее, чтобы она приказала принести также и тот холст, на котором ее изобразил он. Та согласилась на его просьбу, и ученик, у которого

оказалось больше наглости, чем осторожности, и больше самомнения, чем познаний в том искусстве, в котором учитель хотел видеть его преуспевающим, явился вместе со своей картиной и сказал своему наставнику:

— Я знаю, что вы пришли показать портрет, который вы больше года писали с этой дамы, и так как я не меньше вас хотел ей угодить, то и я решил изобразить ее с натуры, но в кратчайший срок.

И с этими словами он открыл свой портрет. Буонарроти разгневался при виде безумного самомнения юнца и готов был его за это отчитать, но, любя его, сдержался и решил попробовать, не удастся ли ему в присутствии этих людей сделать то, что ему никогда не удавалось, когда он журил ученика с глазу на глаз, а именно — заставить его одуматься и понять свое заблуждение.

И вот, глядя на портрет, написанный учеником, он сделал вид, что любуется его необыкновенной красотой и, обратившись к окружающим, сказал:

— Поистине этот юноша достиг в своем произведении того, чего ни один художник древности или современности никогда не достигал.

При этих словах наглец не мог скрыть своей безумной радости, так как ему казалось, что учитель смотрит на его портрет не без восторга и хвалит его совершенство. Когда же окружающие спросили Буонарроти, почему он так отзывается об этом портрете, он ответил:

— По той удивительной причине, что творения других живописцев немы, и никогда не было еще столь опытной руки, которая сумела бы одухотворить изображение человека, каким бы превосходным оно ни было; а этот настолько одухотворил созданное им изображение, что оно как живое обладает даром речи.

Я не берусь описать вам, как при этих словах Аладзон стал задирать нос и насколько некоторые из присутствующих были удивлены суждением Буонарроти, ибо, будучи знатоками искусства, они, глядя на это лицо, усматривали в нем множество ошибок и говорили:

— Как же может этот портрет разговаривать? Мы из его уст еще не слышали ни одного слова!

— Зато я слышу, — продолжал Буонарроти.

— И что же он тебе говорит? — спросили они.

А Буонарроти:

— Он говорит, что в нем нет ничего хорошего.

На это знатоки рассмеялись. Однако некоторым глупцам, которые, не разбираясь в хороших вещах, похвалили портрет, показалось, что Буонарроти сказал это злобствуя, ибо невежество доставляет невеждам столько же удовольствия, сколько знание людям понимающим; почему часто и случается, что люди, не зная совершенного, предпочитают всякое несовершенство, а иногда желание польстить изобличает невежду в мнимом знатоке, который, солгав, больше заботится о своей выгоде, чем о том, чтобы поддержать истинно прекрасное, сказав правду. Но больше всех других рассвирепел ученик и в ярости воскликнул:

— Как это так, ничего хорошего? Не к лицу вам, учитель, завидовать чужому таланту. Если вы откроете ваш портрет, сравнение покажет, что нередко ученики знают куда больше своих учителей.

— Возможно, это и верно, и я хотел бы, чтобы ты оказался таковым, — отвечал Буонарроти, — но ты этих надежд не оправдал, и потому меня огорчает, что ты, убеждая себя, будто знаешь то, чего на самом деле не знаешь, все глубже погружаешься в невежество; в то же время я, любя тебя как родного сына и мечтая увидеть тебя достигшим исключительного совершенства, готов открыть перед тобою свое произведение, но не для того, чтобы с тобой состязаться, так как я счел бы это для себя весьма постыдным, но чтобы ты научился быть скромным и благодарным твоему учителю и удосужился научиться тому, чего не знаешь.

И, сказав это, он приказал снять занавес со своего портрета. Едва его открыли, как он предстал перед взорами каждого, исполненный такого совершенства, что всех поверг в изумление, так как он нес в себе все прелести, какими только превосходный

мастер способен наделить образ благородного человеческого существа. Совершенство портрета настолько покорило душу юноши (и в этом было его счастье), что он, до этого ослепленный гибельным самомнением, увидел в этом полотне как бы пламенеющий светоч, вспыхнувший во мраке его невежества. Тогда-то он познал, насколько был обманут ложным самомнением и самолюбием и, устыдившись самого себя, весь побагровел. Поняв также, сколь полезно было бы ему иметь возможность еще поучиться, чтобы хоть немного приблизиться к своему учителю, он покался и попросил у него прощения за свой поступок. После чего Буонарроти, простив его юному возрасту дерзость и неблагодарность, снова, как и раньше, принял его точно родного сына и стал изо дня в день добиваться его совершенствования, часто напоминая ему, что превосходные вещи не создаются наспех и что юноши, приступающие к изучению искусств, не должны желать быть мастерами прежде, чем они сделались хорошими учениками; ибо чем большему они научатся, тем скорее в них со временем воссияет слава их учителя и тем больше они будут его достойны. Самомнение же для начинающих подобно смертельному яду, ибо оно убивает в них стремление познать истину и делает из них плохих учеников, хотя сами они считают себя законченными мастерами.

Портрет, написанный Буонарроти, был настолько совершенным, что в тысячах копий распространился по всей Италии как образец высокого искусства, в то время как портрет ученика заслужил всеобщее пренебрежение.

[Декада седьмая, новелла X]

ДЖУРИСТЕ¹, ПОСЛАННЫЙ ИМПЕРАТОРОМ
МАКСИМИЛИАНОМ В ИНСБРУК,
ПРИКАЗЫВАЕТ ЗАДЕРЖАТЬ ОДНОГО ЮНОШУ,
КОТОРЫЙ ИЗНАСИЛОВАЛ ДЕВИЦУ,
И ПРИГОВАРИВАЕТ ЕГО К СМЕРТИ.
СЕСТРА ЮНОШИ ПЫТАЕТСЯ ЕГО ОСВОБОДИТЬ;
ДЖУРИСТЕ ОБЕЩАЕТ НА НЕЙ ЖЕНИТЬСЯ
И, ОСВОБОДИВ БРАТА, ВЫДАТЬ ЕГО ЕЙ.
ОНА ЕМУ ОТДАЕТСЯ, А ОН В ТУ ЖЕ НОЧЬ
ОТРУБАЕТ ЮНОШЕ ГОЛОВУ И ПОСЫЛАЕТ ЕЕ СЕСТРЕ.
ОНА ЖАЛУЕТСЯ ИМПЕРАТОРУ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ
ДЖУРИСТЕ НА НЕЙ ЖЕНИТЬСЯ,
А ЗАТЕМ ОТПРАВЛЯЕТ ЕГО НА КАЗНЬ.
ОНА ЕГО ВЫЗВОЛЯЕТ, И ОНИ ВМЕСТЕ
ДОЖИВАЮТ СВОЙ ВЕК В ПОЛНЕЙШЕЙ ЛЮБВИ

Когда Максимилиан, великий владыка, являвший собою редкий пример благородства, великодушия и исключительной справедливости, счастливо правил Римской империей², он посылал своих наместников управлять государствами, процветавшими под

¹ Имя, придуманное автором. *Джуристе* — по-итальянски «юрист».

² Имеется в виду так называемая «Священная Римская империя германской нации». Император Максимилиан I правил ею в 1493—1519 годах.

его державной властью, и в числе других назначил губернатором Инсбрука одного своего приближенного по имени Джуристе. Перед тем как его туда послать, он ему сказал:

— Джуристе, доброе мнение, которое я о тебе составил за то время, что ты был у меня на службе, побуждает меня послать тебя губернатором столь знатного города, как Инсбрук, и я мог бы по этому поводу многое тебе наказать, но хочу все свести к одному, а именно: чтобы ты нерушимо и свято соблюдал правосудие, хотя бы тебе пришлось вынести приговор мне самому, твоему господину. И я предупреждаю тебя, что я мог бы простить тебе все другие проступки, совершенные либо по неведению, либо по нерадению (хотя я хочу, чтобы ты по мере своих сил и от таких себя оберегал), однако никакое нарушение справедливости не получит у меня прощения. А если ты, быть может, не чувствуешь себя способным быть таким, каким я хотел бы тебя видеть (ведь не каждый человек пригоден к любому делу), то не бери на себя это бремя: лучше тебе остаться при дворе, где я тобою дорожу, при исполнении привычных тебе обязанностей, чем, будучи губернатором этого города, вынуждать меня к тому, чтобы принимать против тебя те меры, которые, к величайшему моему неудовольствию, я был бы обязан принять ради справедливости, тобою нарушенной.

На этом он замолчал. Джуристе, гораздо более обрадованный той должностью, на которую его призывал император, чем способный разобраться в самом себе, поблагодарил своего господина за благосклонную память и сказал ему, что он по природе своей призван к тому, чтобы быть блюстителем справедливости, но что отныне он будет соблюдать ее с еще большим рвением, ибо слова государя, подобно факелу, его к тому воспламенили, вселив в него твердую уверенность в том, что успехи его на этом поприще ничего другого, кроме похвал, от его величества заслужить не смогут. Императору слова Джуристе понравились, и он сказал ему:

— Поистине, ничего, кроме похвал, ты не заслужишь, если твои дела будут так же хороши, как хороши твои слова.

И передав ему верительные грамоты, которые были уже изготовлены, он его отправил.

Джуристе стал управлять городом очень мудро и осмотрительно, прилагая величайшее внимание и заботу к тому, чтобы уравнивать чаши весов не только в приговорах суда и в распределении должностей, но и в награждении добродетелей и наказании пороков. Так прошло много времени, в течение которого он благодаря своей умеренности приобрел еще большую милость государя, заслужил расположение всего населения и мог считать себя счастливее всех, если бы продолжал править в том же духе.

Случилось, что один тамошний юноша по имени Виео изнасиловал одну юную гражданку Инсбрука, на что поступила жалоба к Джуристе, который тотчас же приказал его задержать, и после того как юноша сознался в насилии, совершенном им над девицей, приговорил его к отсечению головы согласно закону этого города, требовавшему подобного наказания для преступника такого рода даже в том случае, если бы он согласился жениться на своей жертве.

У юноши была сестра, невинная девушка, не достигшая восемнадцатилетнего возраста, которая, помимо того что блистала исключительной красотой, обладала нежнейшим голосом, и прелестный облик сочетался в ней с женственной целомудренностью. Эпития — так звали ее, — услышав, что ее брат приговорен к смерти, сраженная тягчайшим горем, решила попробовать, не удастся ли ей если не спасти его, то по крайней мере смягчить наказание. А так как они вместе с братом выросли под надзором одного старца, которого отец держал в доме, чтобы он преподавал им философию (как видно, брат ее плохо сумел этим воспользоваться), она отправилась к Джуристе и попросила его, чтобы он сжалился над братом, приняв во внимание и нежный его возраст, ибо ему еще не исполнилось шестнадцати лет, и его неопытность, и любовное томление, подстрекавшее его к насилию. Она доказывала ему, что, по мнению величайших мудрецов,

прелюбодеяние, совершенное из любви, а не для оскорбления, заслуживает меньшей кары, чем ее заслуживает оскорбитель, и что это как раз относится к случаю ее брата, который не для оскорбления, но понуждаемый страстной любовью сделал то, за что его приговорили к смерти; ко всему прочему, он, для искупления совершенного им проступка, готов жениться на этой девушке. И хотя по закону это и не служит смягчающим обстоятельством для того, кто лишает девушку невинности, все же Джуристе, как мудрый правитель, мог бы смягчить суровость этого закона, более оскорбительного, чем справедливого; ибо он занимает это место, будучи облечен императором такой властью, которая, как ей хотелось бы думать, дана ему его величеством для того, чтобы, соблюдая человеческую справедливость, он являл пример скорее милосердия, чем суровости. И если мягкость вообще применима к какому-либо случаю, ее следует применять к случаям любовным, и в особенности когда честь остается незапятнанной, как в случае с ее братом, который готов немедленно взять себе эту девушку в жены. И она полагает, что такой закон был установлен скорее для устрашения, чем для его соблюдения, ибо ей кажется жестоким карать смертью такой грех, который может быть достойно и свято искуплен к полному удовлетворению пострадавшего. И, добавляя к этому другие доводы, она пыталась склонить Джуристе к тому, чтобы он простил несчастного.

Джуристе услаждал свой слух нежным говором Эпитии не меньше, чем он услаждал свои взоры ее великой красотой, и, охваченный желанием видеть и слышать ее, заставил ее повторить то же самое еще раз. Она же, усмотрев в этом доброе предзнаменование, сделала это с еще большей убедительностью, чем прежде. После чего он, казалось, был побежден прелестью ее речи и редкой ее красотой. Однако, ужаленный сладострастной похотью, он задумал совершить над ней то, за что приговорил Виео к смерти, и сказал ей:

— Эпития, доводы твой в пользу брата помогли настолько, что вместо того, чтобы завтра, как предполагалось, отрубить ему голо-

ву, казнь будет отсрочена до той поры, пока я не обдумаю приведенные тобою доводы. Если я признаю их достаточными, чтобы освободить твоего брата, я верну тебе его тем охотнее, чем прискорбнее мне было бы отправлять его на смерть по всей строгости жестокого закона, который этого требует.

Обнадеженная этими словами, Эпития горячо поблагодарила Джуристе за проявленное им благородство и сказала, что должна быть навеки ему обязана, полагая, что он покажет себя не менее благородным, когда освободит брата, чем он уже показал себя, продлив срок его жизни. Она твердо уверена в том, добавила Эпития, что, обдумав все сказанное, он освободит ее брата и этим полностью ее удовлетворит.

Он ей ответил, что все обдумает, и, если сможет это сделать, не нарушая справедливости, не преминет удовлетворить ее желание.

Эпития вышла от него преисполненная надежды, отправилась к брату и рассказала ему все, что было у Джуристе, и насколько первая с ним беседа ее обнадежила.

Виео в его отчаянном положении было весьма отрадно это услышать, и он попросил ее, чтобы она продолжала добиваться его освобождения, и сестра обещала ему приложить к этому все свои старания. Джуристе же, в душе которого глубоко запечатлелся образ женщины, обратил все свои сладострастные помыслы на то, чтобы насладиться Эпитией, и потому дожидался, когда она еще раз явится к нему для разговора. И она через три дня явилась и очень почтительно спросила его, что он надумал. Джуристе, как только ее увидел, почувствовал, что он весь в огне, и сказал ей:

— Ты пришла кстати, юная моя красавица. Я не преминул тщательно рассмотреть все, что в твоих доводах могло послужить на пользу твоему брату, и подыскал к ним еще другие, чтобы ты осталась мною довольна. Однако я убедился, что все рассуждения приводят к смертному приговору, ибо существует всеобщий закон, что если человек согрешил не по незнанию, а по нежеланию знать, то грех его не может быть извинен, ибо он должен

был знать то, что для правильной жизни должны знать все люди во всем мире, и тот, кто грешил таким незнанием, не заслуживает ни извинения, ни жалости. А так как речь идет о твоём брате, который прекрасно должен был знать закон, гласящий, что всякий лишивший девицу невинности заслуживает смерти и должен умереть, я по закону не могу проявить к нему милосердия. Правда, что касается тебя, которой я хотел бы угодить, то, если ты (раз ты так уж любишь своего брата) захочешь уболаготворить меня собою, я готов даровать тебе его жизнь и заменить смертный приговор менее тяжким наказанием.

На эти слова Эпития вся вспыхнула и сказала ему:

— Жизнь моего брата мне очень дорога, но куда дороже мне моя честь, и я скорее готова спасти его ценой своей жизни, чем ценою своей чести, поэтому бросьте эту бесчестную мысль. Но если я любой другой ценой могу вернуть себе брата, я это очень охотно сделаю.

— Иного пути нет, — сказал Джуристе, — кроме того, который я тебе назвал, и напрасно ты этим брезгуешь, ведь легко может случиться, что первые же наши встречи будут таковы, что ты сделаешься моей женой.

— Не хочу, — сказала Эпития, — ставить свою честь под угрозу.

— Почему под угрозу? — возразил Джуристе. — Быть может, ты сама ещё не представляешь себе того, что должно с тобой случиться. Хорошенько об этом подумай, и я буду дожидаться ответа в течение всего завтрашнего дня.

— Ответ я вам даю сейчас, — сказала она. — Если вы на мне не женитесь, то все ваши слова будут брошены на ветер, хотя бы от этого зависело ваше решение освободить моего брата.

Джуристе ей ответил, чтобы она об этом подумала и принесла ему ответ, тщательно взвесив, кто он, каковы его возможности в этом городе и насколько он мог бы быть полезным не только ей, но и каждому, кто захотел бы стать его другом, так как здесь и право и сила в его руках.

Ушла от него Эпития совсем расстроенная, отправилась к брату и рассказала ему все, что произошло между ней и Джуристе, закончив тем, что она не хочет потерять честь ради спасения его жизни. Она, плача, умоляла его быть готовым терпеливо перенести судьбу, назначенную ему неумолимым роком или его собственным невезением.

Тут Виео стал заливаться слезами и умолять сестру не соглашаться на его смерть, раз она может спасти его тем способом, который ей предложил Джуристе.

— Или, может быть, — сказал он, — ты хочешь, Эпития, видеть, как я склоню шею под топором и как упадет на землю отрубленная палачом голова твоего брата, который рожден, как и ты, той же матерью и от того же отца, который рос вместе с тобой до сегодняшнего дня и вместе воспитывался? Ах, сестра, пусть заговорит в тебе голос природы, крови и нашей никогда не изменявшей нам взаимной любви, чтобы ты смогла так, как ты это сможешь, спасти меня от позорного и жалкого конца! Я заблуждался, сознаюсь, но ты, сестра моя, ты можешь исправить мое заблуждение. Будь же щедрой и помоги мне! Разве Джуристе тебе не говорил, что он мог бы на тебе жениться? Почему же ты должна сомневаться в этом? Ты красавица, ты украшена всеми прелестями, которые природа может даровать благородной женщине, ты обаятельна и приветлива, твой голос звучит так чудесно! Все это не только в совокупности, но и порознь может заставить не то что Джуристе, но и самого императора полюбить тебя. Поэтому ты не должна сомневаться, что Джуристе возьмет тебя в жены и этим, спасая твою честь, спасет жизнь твоего брата.

Горько плакал Виео, произнося эти слова, и вместе с ним плакала Эпития, которая, повиснув на шее брата, лишь тогда ее отпустила, когда, побежденная его мольбами, была вынуждена обещать ему, что она, раз он это считает необходимым, отдастся Джуристе, если тот захочет спасти ему жизнь, а ей обещает на ней жениться. После того как они на этом порешили, юная девушка на следующий день отправилась к Джуристе и сказала ему, что

надежда, которую он ей подал, обещав на ней жениться после первых же объятий, и желание освободить брата не только от смерти, но от всякого другого наказания, которое он заслужил за совершенный им проступок, заставляют ее полностью отдаться в его власть, и что она охотно это делает ради того и другого, но прежде всего требует, чтобы он обещал ей жизнь и свободу брата.

Джуристе, считая себя бесконечно счастливее любого человека, так как ему предстояло насладиться такой красивой и милой девушкой, сказал ей, что он подтверждает прежнее свое обещание и что он вернет ей освобожденного из тюрьмы брата на следующее же утро после ночи, которую она с ним проведет.

И вот, поужинав вместе, Джуристе и Эпития легли в постель, и злодей получил от нее полное наслаждение, но, прежде чем лечь с девушкой, он, вместо того чтобы освободить Виео, приказал немедленно отрубить ему голову.

А она, страстно мечтавая увидеть освобожденного брата, не могла дожждаться рассвета, и ей казалось, что еще никогда солнце так не медлило привести с собою день, как в эту ночь. Наутро Эпития, вырвавшись из объятий Джуристе, стала в самых нежных выражениях просить его, не соблаговолит ли он оправдать ту надежду на брак, которую он в нее вселил, и прежде всего прислать к ней освобожденного брата. Он ей ответил, что их встреча была ему очень дорога, что ему очень приятно видеть ее исполненной надежды, которую он ей подал, и что он пришлет ей брата домой. И тут же вызвал тюремщика и приказал ему:

— Иди в тюрьму, выведи оттуда брата этой женщины и приведи его к ней в дом.

Эпития, услышав это, исполненная великой радости, пошла домой в ожидании освобожденного брата. Тюремщик, положив тело Виео на носилки, а его голову к ногам и покрыв все черным пологом, сам возглавляя шествие, приказал нести его к Эпитии; войдя к ней в дом и вызвав ее, он сказал:

— Вот ваш брат, освобожденный из тюрьмы, которого посылает вам синьор губернатор.

И с этими словами он велел открыть носилки и показал ей брата в том виде, о котором вы слышали.

Я не думаю, чтобы можно было выразить словами или чтобы человеческое разумение могло постичь всю горечь и силу муки и отчаяния, охвативших Эпитию, когда ей принесли в таком виде мертвого брата, которого она, испытывая величайшую радость, ожидала увидеть живым и освобожденным от всякого наказания. Я уверен, вы, женщины, мне поверите, что горе этой несчастной, по своей природе и остроте, намного превышало все мыслимые виды страдания. Однако она скрыла его в глубине своего сердца, и, в то время как всякая другая женщина стала бы плакать и кричать, она, наученная философией тому, какой должна быть человеческая душа при любых превратностях судьбы, сделала вид, что она довольна, и сказала тюремщику:

— Ты передашь твоему и моему господину, что я принимаю от него брата таким, каким он соблаговолил его послать; а так как он не пожелал исполнить моего желания, довольствуюсь тем, что он исполнил свое. И этим я его волю делаю своей, полагая, что он справедливо совершил то, что совершил. И ты засвидетельствуешь, что я ему предана и всегда готова служить.

Тюремщик доложил Джуристе то, что он услышал от Эпитии, сказав, что она не проявила никаких признаков недовольствия при виде столь ужасного зрелища. Услышав это, Джуристе был в глубине души очень обрадован и решил, что он все равно сможет обладать этой девушкой так, словно она уже была его женой и словно он вернул ей брата живым.

После ухода тюремщика Эпития, обливаясь обильными слезами, предалась долгому и скорбному плачу над телом мертвого брата, проклиная жестокость Джуристе и свою доверчивость, из-за которой она отдалась ему раньше, чем добилась освобождения брата. И после многих слез она похоронила мертвое тело. Затем, одна в своей комнате, охваченная справедливым негодованием, она стала рассуждать сама с собой:

— Итак, Эпития, ты стерпишь, что этот негодяй отнял у тебя твою честь и за это обещал тебе брата живым и свободным, а

потом выдал его тебе в таком жалком виде? Ты потерпишь, чтобы он похвалялся, что дважды обманул твою доверчивость, не получив от тебя должного возмездия?

И распаляя в себе этими словами жажду мести, она говорила:

— Моя доверчивость открыла дорогу этому злодею к осуществлению его бесчестного желания, но я хочу, чтобы его же сладострастие дало мне способ ему отомстить. И хотя месть не вернет мне жизни брата, она все же послужит мне некоторым утешением в моем горе.

И, пребывая в таком душевном смятении, она все-таки как будто остановилась на этой мысли в ожидании, что Джуристе снова придет за ней с просьбой провести с ним ночь; она решила, что отправится к нему, спрятав на себе нож, и зарежет его, бодрствующего или спящего, как придется; а если представится случай, отрубит ему голову и, отнеся ее на могилу брата, посвятит ее его тени. Однако, по зрелом размышлении, она убедила себя, что, хотя бы ей и удалось убить обманщика, можно будет легко предположить, что она, как женщина бесчестная, а потому готовая на всякое зло, совершила это скорее в порыве гнева и негодования, чем в отместку за его вероломство. Поэтому, зная, как велика справедливость императора, который в то время пребывал в Виллако, она решила к нему отправиться и пожаловаться его величеству на неблагодарность и несправедливость Джуристе, ибо она была твердо уверена, что этот лучший и справедливейший государь наложит справедливейшее наказание на этого негодяя за его несправедливость и неблагодарность.

И вот, одевшись в траур, совсем одна, тайком пустившись в дорогу, она направилась к Максимилиану. Попросив и добившись приема, она бросилась к его стопам и, подкрепляя свое печальное обличье жалобным голосом, сказала ему:

— Священнейший повелитель, я предстаю перед вашим величеством, побуждаемая жестокой неблагодарностью и невероятной несправедливостью, выказанными в отношении меня Джуристе, наместником вашего кесарского величества в Инсбруке, и,

безмерно огорченная неслыханной обидой, которую он мне нанес, я уповаю на то, что ваше правосудие, в котором ни одному обиженному никогда не было отказа, не допустит, чтобы Джуристе похвалялся тем, что нещадно погубил меня так, как он это и сделал. Да будет мне дозволено произнести в присутствии вашего величества эти слова, какими бы резкими они ни казались; они все же не могут сравниться с жестоким и невиданным позором, которым покрыл меня этот злой человек, доказавший мне, что он из всех людей в одно и то же время и самый неблагодарный и самый несправедливый.

И тут она с неудержимыми рыданиями и вздохами рассказала его величеству, как Джуристе, поселив в ней надежду на брак и на освобождение ее брата, лишил ее невинности, а затем послал ей мертвого брата на носилках, положив отрубленную голову к его ногам. При этом она подняла такой вопль и так разрыдалась, что потрясла императора и окружавших его величество придворных, которые от жалости к ней словно оцепенели.

Максимилиан выслушал ее с большим сочувствием, и тем не менее склонив одно ухо к Эпитии (которую он к концу ее речи заставил подняться на ноги), другое приберег для Джуристе и, отпустив женщину, чтобы она отдохнула, тотчас же послал за Джуристе, приказав посланцу и всем остальным присутствующим, под страхом его немилости, ни слова ему о случившемся не говорить. Джуристе же, никак не предполагавший, что Эпития была у императора, весело явился и, представ перед его величеством и склонившись перед ним, спросил, чем он может служить.

— Ты сейчас об этом узнаешь, — сказал Максимилиан и тут же вызвал Эпитию.

Джуристе, при виде той, которую он так тяжко оскорбил, и сраженный сознанием этого, так растерялся, что, лишившись присутствия духа, весь задрожал. Увидя это, Максимилиан убедился, что женщина ничего, кроме правды, ему не сказала, и, обратившись к злодею со строгостью, приличествующей в таком ужасном случае, сказал:

— Узнай, за что на тебя жалуется эта девушка, — и приказал Эпитии, чтобы она высказала свои жалобы. И она по порядку изложила всю историю, в заключение, как и раньше, воззвав к правосудию императора.

Джуристе, выслушав обвинение, решил польстить женщине, говоря:

— Я никогда не поверил бы, что вы, которую я так люблю, явитесь с таким обвинением против меня перед его величеством.

Однако Максимилиан не допустил, чтобы Джуристе лестью воздействовал на девушку, и сказал:

— Не время изображать здесь страстного влюбленного. Отвечай лучше на обвинение, которое она тебе предъявила.

Тогда Джуристе, воздержавшись от того, что могло ему повредить, сказал:

— Это правда, что я приказал отрубить голову ее брату за то, что он похитил и изнасиловал девицу, и я это сделал, блюдя святость законов и ту справедливость, которую ваше величество так строго наказывали мне хранить и не нарушив которую я не мог оставить его в живых.

Тогда Эпития:

— А если ты считал, что этого требовала справедливость, почему же ты обещал вернуть мне его живым, а обещав и обнадежив меня, что на мне женишься, лишил меня невинности? Если мой брат за один только грех заслужил испытать на себе всю строгость правосудия, то ты за два греха заслуживаешь этого гораздо больше, чем он.

На это Джуристе промолчал. Тогда император произнес:

— Как ты думаешь, Джуристе, это ли был способ соблюсти справедливость, или, наоборот, ты ее этим настолько оскорбил, что чуть не убил, проявив по отношению к благородной женщине неблагодарность большую, чем это снилось любому злодею? Но, поверь мне, теперь тебе не поздоровится.

Тут Джуристе взмолился о пощаде, а Эпития, со своей стороны, требовала правосудия. Убедившись в доверчивости молодой

женщины и в вероломстве Джуристе, император тотчас же стал обдумывать, как бы спасти ее честь и в то же время соблюсти справедливость, и, приняв решение, повелел, чтобы Джуристе женился на Эпитии. Она же не хотела на это соглашаться, говоря, что не может себе представить, чтобы можно было от него ожидать чего-либо, кроме обмана и предательства, но Максимилиан требовал, чтобы она согласилась на его решение. Джуристе уже решил, что женитьба на ней положит конец его несчастиям, однако случилось иначе, ибо Максимилиан, отпустив женщину, чтобы она могла пойти к себе в гостиницу, обратился к Джуристе, который остался, и сказал ему:

— Ты совершил два преступления, и оба очень тяжких: во-первых, ты обесчестил эту девушку, обманув ее так, что следует признать, что ты ее изнасиловал, а во-вторых, ты вопреки данному ей обещанию убил ее брата, который хоть и заслужил смерть, но все же был достоин того, чтобы ты (раз тебе было дано право нарушать закон) сдержал обещание, данное тобою его сестре, после того, как твое сладострастие и распущенность уже заставили тебя обещать ей это под честным словом, а ты вместо этого опозорил ее, послав ей труп в том виде, как мы здесь слышали. И если в искупление первого преступления мною предусмотрено, что ты должен жениться на изнасилованной тобою женщине, то я хочу, чтобы в качестве возмездия за второе тебе отрубили голову так же, как ты отрубил голову ее брату.

Легче представить себе, чем подробно описать тяжкое горе, охватившее Джуристе, когда он услышал приговор императора. Итак, Джуристе был взят под стражу с тем, чтобы его казнили на следующее утро, как гласил приговор. Поэтому, приготовившись к смерти, он уже не ждал ничего другого, кроме того, что палач приступит к своему делу.

Между тем Эпития, которая с таким жаром против него выступала, услышав приговор императора и движимая природной своей добротой, рассудила, что, раз император назначил Джуристе ей в мужа и она его таковым признала, было бы недостойно согла-

шаться на то, чтобы он был казнен по ее обвинению. Ей казалось, что такое согласие скорее можно было бы приписать жестокости и жажде мести, чем стремлению к справедливости. Поэтому, обратив все свои помыслы на спасение' этого заблудшего, она пошла к императору и, получив аудиенцию, так ему сказала:

— Священнейший император, несправедливость и неблагодарность, выказанные по отношению ко мне Джуристе, побудили меня просить управы на него у вашего величества, и вы, справедливейший, позаботились о справедливейшем возмездии за оба совершенных им преступления: во-первых, за то, что он обманным путем лишил меня невинности, вы заставили его взять меня в жены, а во-вторых, за убийство моего брата вопреки данному мне слову вы приговорили его к смерти. Однако если, прежде чем стать его женой, я должна была желать, чтобы ваше величество его приговорили к смерти, как вы по справедливости и поступили, то теперь, после того как я, по вашей милости, сочеталась с ним священными узами брака, если бы я согласилась на его смерть, я заслужила бы себе, на вечный мой позор, имя бесчувственной и жестокой женщины, что противоречило бы намерению вашего величества, которое в своем правосудии были блюстителем моей чести. Поэтому, священнейший император, дабы добрые намерения вашего величества достигли своей цели и честь моя оставалась незапятнанной, я нижайше и почтительнейше молю вас не допустить, чтобы, повинувшись вашему приговору, меч правосудия безжалостно рассек те узы, коими вы благоволили сочетать меня с Джуристе. И если приговор вашего величества, осудивший его на смерть, был свидетельством вашей заботы о справедливости, то да соблаговолите вы сейчас, вернув мне его живым, явить свое милосердие, о чем я снова горячо молю. Ибо, священнейший император, для того, кто правит вселенной, как достойнейшим образом правит ею ваше величество, не менее похвально проявлять милосердие, чем вершить правосудие: ведь правосудие показывает, что владыка, ненавидя пороки, карает их, милосердие же уподобляет его бессмертным богам!

А я, удостоившись от вашей благодати этой исключительной милости, буду, как смиреннейшая раба вашего величества, всегда благоговейно молить господа, чтобы он за ваш благородный поступок соблаговолил на долгие и счастливые годы сохранить жизнь вашего величества, дабы вы могли неизменно вершить свое правосудие и оказывать свое милосердие — смертным на благо, себе же к чести и к славе.

На этом Эпития закончила свою речь. Максимилиан подивился тому, что она, забыв об оскорблении, нанесенном ей Джуристе, так горячо молит в его пользу. И он решил, что такая доброта, какую он видит в этой женщине, заслуживает, чтобы он, по милости своей, вернул ей того, кто по закону был осужден на смерть. Поэтому, вызвав к себе Джуристе в тот самый час, когда он ожидал, что его поведут на казнь, император сказал ему:

— Доброта Эпитии, преступный человек, возымела в моих глазах такую силу, что, хотя злодейство твое заслуживало не одной, а двух смертей, она меня уговорила тебя помиловать, и я хочу, чтобы этой жизнью ты был обязан ей. И раз она согласна жить с тобою, связанная теми узами, которыми я хотел тебя с ней связать, то и я согласен, чтобы ты жил с нею. Но если я когда-нибудь услышу, что ты обходишься с ней не как с самой любящей и с самой благородной, женой, тебе придется испытать всю силу моего гнева.

И с этими словами император, взяв Эпитию за руку, отдал ее Джуристе, и оба они возблагодарили его величество за дарованную им милость и оказанное им благодеяние. Джуристе же, помня, сколь благородно Эпития с ним поступила, неизменно питал к ней величайшую любовь и счастливо прожил с ней остаток своих дней.

[Декада восьмая, новелла V]